

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ ТОМ 4 2019 NO1



К

РЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ 2019

ТОМ 4 NO1

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ 2019

ТОМ 4 NO 1

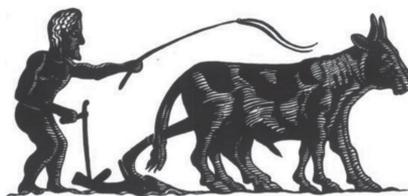
Издается с 2016 года

Выходит 4 раза в год

ISSN 2500-1809

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Центр аграрных исследований

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Регистрационный номер
ПИ № ФС77-65824
от 27.05.2016



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Т. Шанин, председатель, Манчестерский университет (Великобритания)
А. М. Никулин, главный редактор, РАНХиГС
М. Г. Пугачева, ответственный секретарь, НИУ ВШЭ
И. В. Троцук, заместитель главного редактора, РУДН, РАНХиГС
П. Линднер, Франкфуртский университет (Германия)
Т. Г. Нефедова, Институт географии РАН
Дж. С. Скотт, Йельский университет (США)
О. П. Фадеева, ИЭОПП СО РАН
Н. И. Шагайда, РАНХиГС
С. Шнайдер, Университет Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

А. И. Алексеев, МГУ им. М. В. Ломоносова
В. В. Бабашкин, РАНХиГС
С. М. Боррас Дж., Институт социальных исследований (Нидерланды)
К. Бруиш, Дублинский университет (Ирландия)
С. Вегрен, Южно-Методистский университет (США)
В. Г. Виноградский, Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. В. Плеханова
О. Виссер, Институт социальных исследований (Нидерланды)
А. В. Гордон, ИНИОН РАН
В. А. Ильиных, Институт истории СО РАН
В. В. Кондрашин, Институт российской истории РАН
Э. Н. Крылатых, РАНХиГС
И. А. Кузнецов, РАНХиГС
А. А. Куракин, НИУ ВШЭ, РАНХиГС
С. Ленц, Институт социальной географии (Германия)
В. А. Мау, РАНХиГС
Ш. Мерль, Билефельдский университет (Германия)
Р. М. Нуреев, НИУ ВШЭ
А. В. Петриков, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова
Дж. А. Пизано, Нью-Йоркский университет (США)
Е. Потехина, Варминьско-Мазурский университет (Польша)
Дж. Пэллот, Оксфордский университет (Великобритания)
В. Я. Узун, РАНХиГС
Цзин Цон Е, Пекинский аграрный университет (КНР)

АДРЕС РЕДАКЦИИ

119571, Москва, проспект Вернадского, 84, корпус 9, офис 2003
Телефон: +7-499-956-95-56
Web: <http://peasantstudies.ru>

УЧРЕДИТЕЛЬ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Корректор И.Е. Кроль; дизайн: Издательский дом «Дело», РАНХиГС
В оформлении издания использованы гарнитура Old Standard, А. Крюков;
картина «Крестьянский мальчик». Г.В. Сорока (1840, Государственный
Русский музей, Санкт-Петербург)

© Авторы статей, 2019
© РАНХиГС, 2019

Содержание

Теория

- Макаров Н.П.* На великом распутье. Опыт сравнительного анализа эволюции сельского хозяйства Китая, Соединенных Штатов Северной Америки, СССР, Западной Европы 6

История

- Кузнецов И.А.* Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце? 22
- Merl S.* Reassessment of the Soviet agrarian policy in the light of today's achievements 45

Современность

- Виноградский В.Г., Виноградская О.Я.* Экология сельского мира глазами крестьян 70
- Рогозин Д.М., Вьюговская Е.В.* Автоэтнография деревенского дома Русского Севера 98

Интервью с исследователем

- Нефедова Т.Г., Никулин А.М.* «Работать надо, и тебя найдут и сами все предложат». 123

Рецензии

- Рынков В.М.* Примат общественного над личным, или Российская деревня через юридическо-антропологическую оптику Владимира Безгина 145
- Полещук И.К.* Перспективы и реалии технологической радикализации повседневной жизни. 159

Научная жизнь

- Niederle P.* BRICS cooperation for the Critical Agrarian Studies: Challenges for the international research network under the new global geopolitics 166
- Шагайда Н.И.* Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше? 173
- Толстов С.И., Усольцева О.В.* Сельское историческое краеведение на Томской земле 179

Russian peasant studies

Vol. 4. 2019. No 1

Published since 2016, frequency—four issues per year

EDITORIAL BOARD

T. Shanin, (chairman), University of Manchester (UK)
A. M. Nikulin, Editor in Chief, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
M. G. Pugacheva, Executive Secretary, Intercenter, HSE
I. V. Trotsuk, Deputy Editor, Peoples' Friendship University of Russia, RANEPA
P. Lindner, University of Frankfurt (Germany)
T. G. Nefedova, Institute of Geography of Russian Academy of Sciences
J. C. Scott, Yale University (USA)
O. P. Fadeeva, Institute of Economics and Industrial Engineering of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
N. I. Shagaida, RANEPA
S. Schneider, University of Rio Grande do Sul (Brazil)

ADVISORY BOARD

A. I. Alekseev, Moscow State University
V. V. Babashkin, RANEPA
S. M. Borrás Jr., Institute of Social Studies (Netherlands)
K. Bruisch, University of Dublin (Ireland)
S. Wegren, Southern Methodist University (USA)
V. G. Vinogradsky, Saratov Social-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics
O. Visser, Institute of Social Studies (Netherlands)
A. V. Gordon, Institute of Scientific Information on Social Sciences of Russian Academy of Sciences
V. A. Il'inykh, Institute of History of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
V. V. Kondrashin, Institute of Russian History of Russian Academy of Sciences
E. N. Krylatykh, RANEPA
I. A. Kuznetsov, RANEPA
A. A. Kurakin, Higher School of Economics (HSE), RANEPA
S. Lentz, Institute of Social Geography (Germany)
V. A. Mau, RANEPA
S. Merl, University of Bielefeld (Germany)
R. M. Nureev, HSE
A. V. Petrikov, Alexander A. Nikonov Russian Institute for Agrarian Issues and Information Science
J. A. Pisano, New York University (USA)
E. Potekhina, University Warmia and Mazury (Poland)
J. Pallot, University of Oxford (UK)
V. Ya. Uzun, RANEPA
Jingzhong Ye, Beijing Agricultural University (China)

CONTACT DETAILS

Mailing address: Office 2003, 84 Vernadskogo prosp., 119571, Moscow, Russian Federation.

Phone: +7-499-956-95-56

Web: <http://peasantstudies.ru>

FOUNDER

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

TABLE OF CONTENTS

THEORY

- Makarov N.P.* At the great crossroads. The comparative analysis of the evolution of agriculture in China, the United States of North America, the USSR, and Western Europe. 6

HISTORY

- Kuznetsov I.A.* The agrarian revolution of 1917 in Russia: Is it worth studying economic history and forgetting the sad end? 22
- Merl S.* Reassessment of the Soviet agrarian policy in the light of today's achievements 45

THE PRESENT TIME

- Vinogradsky V.G., Vinogradskaya O.Ya.* Ecology of the rural world in the perception of peasants 70
- Rogozin D.M., Vyugovskaya E.V.* Autoethnography of the rural house in the Russian North 98

INTERVIEWS

- Nefedova T.G., Nikulin A.M.* "You have to work, and they will find you and will offer you everything" 123

REVIEWS

- Rynkov V.M.* The primacy of public over personal, or the Russian village in the legal-anthropological perspective of Vladimir Bezhin 145
- Poleshchuk I.K.* Prospects and realities of the technological radicalization of everyday life 159

SCIENTIFIC LIFE

- Niederle P.* BRICS cooperation for the Critical Agrarian Studies: Challenges for the international research network under the new global geopolitics 166
- Shagaida N.I.* Institutional restructuring of agriculture is complete: what is next? 173
- Tolstov S.I., Usoltseva O.V.* Rural historical regional studies in the Tomsk Region 179

На великом распутье

Опыт сравнительного анализа эволюции сельского хозяйства Китая, Соединенных Штатов Северной Америки, СССР, Западной Европы

Н.П. Макаров

Данная статья, опубликованная в середине 1920-х годов журнале «Крестьянский интернационал» (1925. № 1-2. С. 61-75), принадлежит перу выдающегося российско-аграрника, видного представителя организационно-производственной школы Николая Павловича Макарова (1887–1980). Эта замечательная публикация странным образом отсутствовала в библиографических списках макаровских работ, хотя ее значение представляется, безусловно, важным для понимания вопросов эволюции мирового сельского хозяйства XX века. При прочтении этой статьи становится также ясным, что ее идеи во второй половине 1920-х годов развивались в работах и других ученых организационно-производственной школы — А.В. Чаянова, Г.С. Студенского, А.А. Рыбникова. Из названия статьи, а также предуведомления к ней следует, что автор стремится дать аналитическую картину основных направлений всемирной аграрной эволюции 1920-х годов, а также ее возможных альтернативных направлений на примерах основных четырех макрорегионов мирового сельского хозяйства: США, Китая, Западной Европы и России. В своей статье автор прежде всего уделяет внимание двум так называемым «полюсам» аграрного развития — США и Китаю. Макаров доказывает, что «старый» трудоинтенсивный аграрный Китай и «молодые» капиталоинтенсивные аграрные Соединенные Штаты являют по отношению друг к другу полную противоположность. Именно меж этими полюсами располагаются пути сельскохозяйственной эволюции большинства остальных стран мира, включая Европу и Россию. В заключение Макаров стремится дать предварительный диагноз наступающему моменту великого аграрного распутья для мирового сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, США, Китай, Западная Европа, Россия, аграрная эволюция, крестьяне, фермеры

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-6-21

Публикацию подготовил Александр Михайлович Никулин, кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: harmina@yandex.ru

I

Безграничное разнообразие мира обобщающая мысль человека разлагает на типы и схемы. Сельское хозяйство разных стран земного шара бесконечно разнообразно для тех, кто ищет особенностей для каждой страны и каждой местности. Но это же разнообразие может быть схематизировано, как только наблюдатель захочет охватить его общим взглядом. Для этого наблюдатель пользуется масштабом для соизмерения, общим для всех стран. Таким масштабом может служить понятие системы сельского хозяйства как ценностного соотношения трех основных факторов сельского хозяйства: *труда, капитала и земли*. В их соотношении кроется, как в краткой формуле, ключ к пониманию многих сторон и организации сельского хозяйства и социальных отношений.

Каждая страна при всем своем внутреннем и районном разнообразии имеет *свой стиль*, свой *основной тон*, свою систему сельского хозяйства. Развертывание новых районов сельского хозяйства в стране, переход к новым системам и т. п. — все это не происходит свободно, независимо от начальных исходных районов и систем сельского хозяйства страны, а является генетически связанным. В этом смысле мы и говорим о *едином стиле* сельского хозяйства страны, несмотря на все историческое или районное его разнообразие.

Упрощая, схематизируя наше представление о системах сельского хозяйства отдельных стран мира и их эволюции, мы можем установить два полюса: Китай, как страна наиболее интенсивных систем сельского хозяйства, росла до крайнего напряжения трудоинтенсивности, а затраты капитала в сельском хозяйстве оставались в самых скромных размерах, подчас сводясь на нет; на другом полюсе стоят Северо-Американские Соединенные Штаты — как страна, успевшая уже пройти немалый путь (кажущийся детским с точки зрения «старика»-Китая), сохраняя до сих пор расширенное землепользование, непрерывно увеличивая капиталоемкость хозяйства; рост трудоинтенсивности, во всяком случае, отстает от роста капиталоемкости. Только еще более молодые страны: Канада, Новая Зеландия, Аргентина стоят еще «полюсное», но молодость и незаконченность даже первого этапа их истории, как стран сельскохозяйственных, делает нецелесообразным противопоставлять их Китаю. Между этими полюсами как бы располагается все остальное разнообразие мира.

II

История сельского хозяйства Китая насчитывает свыше 4600 лет. Это страна трагических переживаний. Над всей ее историей тяготеет упорная борьба с природой, дающей влагу то в из-

бытке, то в недостатке. Государство берет на себя руководство этой борьбой. Эта предпосылка крепко связывает экономическую жизнь страны с ее политической жизнью. Можно насчитать не менее 8 глубоких кризисов в истории этой страны, когда миллионы смертей делали отметку о приходе очередного кризиса. Внешне это сопровождалось предварительным сгущением населения, переобремененностью земли трудом при данной системе хозяйства, образованием тупика экономического, сопровождавшегося обычно каким-либо политическим кризисом, приводившим к еще более обостренному экономическому положению с разрушением системы государственных и частных хозяйств, с неурожаями и голодом, с вымиранием миллионов, бегством, расселением на новых местах части населения и с постепенным образованием того же кризиса сначала. Некоторые из таких тяжелых периодов вынуждали нацию делать те продвижения в сельскохозяйственной технике, которые спустя тысячелетия сделала и Западная Европа (азотсобирающие культуры, севооборот, межрядковые культуры и т. п. к 600 г. до Р.Х.). Несмотря на то что в периоды острых кризисов население гибло десятками миллионов, исторические памятники Китая (правда, весьма спорные для последних эпох) рисуют нам следующую картину населения:

1736 г.	60 млн населения
1750 г.	100
1792 г.	300
1812 г.	352
1910 г.	342
1922 г.	427

Гражданские войны, наводнения, неурожай и до сих пор вносят свои пертурбации в движение населения страны этой стариннейшей сохранившейся культуры.

Природа, взятая в руки человека, позволяла особенно напряженное сгущение населения. Запаса тепла и влаги при рациональном их использовании достаточно для сбора 2–3 урожаев в течение одного года. Это еще более толкало к уплотнению населения. В результате всего в стране плотность населения по провинциям колеблется от 0,18 дес. до 1,21 дес. На душу; делая поправку на не-сельскохозяйственное население, получим плотность сельскохозяйственного населения по провинциям от 0,22 дес. до 1,32 дес. на душу. Наибольшего сгущения сельскохозяйственное население достигает не в чисто рисовых провинциях, как принято думать, а в районах индиго, чая, шелка; рисовые поля преобладают в переходных районах. В этих районах на одно хозяйство из 8–10

1. Периоды около 1820 и 1850 гг. характеризуются резкими неурожаями, катастрофическими наводнениями, массовым вымиранием.

человек приходится 1/2–1 дес. земли. При распространенности двух урожаев — земельное обеспечение меньше.

Интенсивность хозяйства и крайняя сгущенность населения создали крайне высокую цену на землю. Цена в 500–800 рублей за десятину до войны могла считаться умеренной ценой на обычные рисовые земли; лучшие земли, как, например, апельсиновые, поднимались до 3500 руб. и более за десятину. Такое положение толкало хозяина-китайца к распашке всякого, даже самого малого клочка земли, щадя лишь могилы предков. Не менее 1/3 земель можно считать занятыми 2–3 урожаями в год, чтобы лучше их использовать. Грядковая культура, даже в отношении зерновых, стала основной системой земледелия. Пользование межгрядковыми культурами, подсев одних культур в другие для экономии во времени и т. п., все это — способы возможно большего использования одной и той же земельной площади, имеющейся у хозяина в очень ограниченном количестве.

При такой напряженной эксплуатации земли естественно, что *проблема восстановления плодородия почвы становится центральной и основной проблемой сельского хозяйства Китая.*

История выработала целую серию методов восстановления. Вот их краткий перечень.

Рациональный севооборот с участием азотсобирающих культур и корнеклубнеплодов, основной принцип плодосмена, как метода восстановления плодородия почвы, введен был задолго до современной эры. Земельное удобрение, затаптываемое или запахищаемое под посевы риса и других культур, является общераспространенным. Морские водоросли и особенно грязь со дна каналов выносятся или вывозятся и разбрасываются на поля до 1000–2000 пудов на 1 дес. (на 2 года). В лесах и на горах накапливаются травы и идут на изготовление компостов для последующего удобрения полей; в эти компосты попадают и всевозможные отбросы по хозяйству. Человеческий кал и моча имеют в этом отношении большое значение и во всяком случае большее, чем навозное удобрение, т.к. плотность людей выше плотности животных; обращение же у китайского хозяина с человеческими экскрементами самое бережное. Ввиду малого значения скотоводства жмыхи используются как непосредственное удобрительное вещество. Наконец, перенос и обмен почвы с одних участков на другие, например, с рисовых участков на туповые, и наоборот, — является высокоинтенсивным методом восстановления плодородия почвы в более интенсивных районах сельского хозяйства Китая. Поскольку плодородие почвы зависит от запаса влаги в почве или от своевременной передачи ее в почву, китайское хозяйство решает этот вопрос путем соответствующего подбора растений, грядковой системы, террасирования полей, прикрытия полей соломой и др. материалами, задерживающими влагу. Но при двух или трех урожаях за год и при бездожде в летний сезон хозяйство необходимо переходит к искусственно-

Н.П. Макаров
На великом
распутье

му орошению полей, являющемуся основным приемом поддержания плодородия в Китае.

Стоит вдуматься в то, сколько труда требует каждый из отмеченных методов восстановления плодородия почвы, чтобы понять всю степень интенсивности китайских систем сельского хозяйства. Положение усугубляется еще и тем, что хозяйство сосредоточивается на возможно более интенсивных почвенных культурах и отраслях сельского хозяйства (рис, индиго, хлопчатник, чай и т. п.).

Подсчитывая затраты сельскохозяйственного труда, мы получаем до 320 дней за год на 1 дес. для культуры риса, 215 для пшеницы, 405 для хлопчатника, 595 для табака и т. п. Ясно, что при этом в хозяйстве господствуют ручные работы, так как даже разглаживание рисового поля или распределение компоста делается чаще рукой (для большей тщательности в выполнении работы).

При такой трудоинтенсивности капиталоемкость хозяйства чрезвычайно низка. Заступ, лопата, плуг, в лучшем случае буйвол или осел и свинья — вот главные виды мертвого и живого инвентаря. Постройки можно исчислять ценностью в пределах 30 рублей на 1 десятину. Пользуясь японскими данными для аналогичных условий, мы получаем при анализе издержек производства для культуры риса 91% расходов (если не считать аренды) на оплату труда и удобрений, являющихся продуктом труда самого китайского хозяйства.

Естественно, что так организованное хозяйство дает постоянные и высокие урожаи (200–250 пудов с одной десятины пшеницы или риса); производительность единицы земельной площади бывает исключительно высока, особенно при подборе более интенсивных культур. Но учитывая крайнюю скученность населения и массу затраченного труда, мы получаем чрезвычайно малый доход хозяина и в расчете на одно хозяйство, и в расчете на одного рабочего. Можно считать, что в среднем на одно хозяйство получается 80–90 рублей дохода (при 1–2 десятинах интенсивного хозяйства с не менее чем двумя урожаями за год); это дает доход на 1 душу сельского населения в пределах 15–18 рублей. Какие бы индексы товарных цен мы ни приводили, все равно мы будем иметь дело с крайне бедственным положением сельского хозяйства. Не забудем еще раз оговориться о существующих районных отклонениях, а также и о том, что исходный цифровой материал крайне отрывочен и случаен, и в руках каждого исследователя будет давать несколько свою картину; но существо дела должно будет оставаться тем же: *крайняя трудоинтенсивность раздробленного хозяйства, организовавшегося под давлением тысячелетиями накапливающегося населения при совершенном почти отсутствии капиталоемкости хозяйства, давала низкую производительность труда и полунищенский доход хозяйству.*

Ясно, что говорить о развитии капиталистических отношений в такой сельскохозяйственной среде не приходится. Капитал, организующий хозяйство, отшатнулся от этой среды. Остались лишь хищнические отношения ростовщичества, скупки, аренды. И без того глубокий хозяйственный кризис лишь еще больше углубляется этими отношениями.

В свое время капитализм не «оплодотворил» народного хозяйства Китая и не дал ему выхода из создавшегося тупика в эволюции сельского хозяйства. Лишь за самые последние десятилетия капитализм, в его империалистической политике, пытался войти и в эту страну. Входя, он проделывал это в стиле не менее сильном, чем первые страницы из истории индустриального капитализма в Англии или Франции. Представители капиталистических стран сами приходят в ужас, видя работу своего капитала в этой стране, построенную на самой жуткой эксплуатации детского труда на капиталистических фабриках, создаваемых иностранным капиталом в этой стране. Чем глубже был кризис и тупик в эволюции сельского хозяйства этой страны, тем труднее и болезненнее будут всякие попытки международного капитала «оплодотворить» народное хозяйство Китая. Перед такой тяжелой перспективой стоит дальнейшая эволюция этой страны.

III

Яркое солнце, избыток тепла, просторы молодой жизнерадостной страны — вот первые впечатления от Соединенных Штатов. Молодость, стремительность, напряженность в осознании и переживании своих интересов, переходящая иногда в организованную классовую борьбу фермерства за свои права, — так характерны для этой страны. «Наше фермерство — это лучшая часть нашей нации», — сказал автору один американец.

Сельскому хозяйству Соединенных Штатов насчитывается 300 лет с небольшим (с 1607 г.); за это время организовавшись, оно кормит свыше 100 млн человек в Соединенных Штатах и много миллионов вне страны путем экспорта. Свыше 50% жителей страны уже живет в городах. Весь стиль этой краткой истории *полюсно* иной.

Население страны составлялось не путем медленного и постепенного размножения и роста, а путем переселения из Европы отборного состава здоровых, энергичных, волевых людей. Пришельцы принесли из Западной Европы культуру, знание, технику; за ними быстро стали приливать и европейские капиталы — сначала торговые, затем индустриальные. Попав на простор новой земли, население легко и быстро размножалось. Приток переселенцев не прекращался (до самого последнего времени, когда путем искусственных мер он сжат и изменен в своем составе), изменив только направле-

ние: ранее переселенцы осаждались преимущественно в сельском хозяйстве, теперь преимущественно в городе.

Сельское хозяйство этой страны знало несколько кризисов сбыта сельскохозяйственных товаров, но краткосрочных; преимущественно же оно имело постоянную конъюнктуру для сельскохозяйственных продуктов. После Великой французской революции (1789) начинается серия войн в Европе, создается мировая дороговизна, продолжавшаяся до 50–60-х годов XIX века. Далее начинается период западноевропейского индустриального города на почве развития капитализма в Европе. Все это постоянно обеспечивало выгодный рынок американскому хлебу за границей. В это время подрастает свой американский город, с 90-х годов становящийся все более важным рынком сбыта для продуктов сельского хозяйства страны. Теперь считают основную первую колонизацию страны и занятие новых земель законченными; страна отдала свыше половины своего населения индустриальному городу; закончен целый период в истории страны; она перестала быть в своей основе страной сельскохозяйственной, сохранив и развив за это время сильное, наполненное капиталами сельское хозяйство.

Развиваясь в таких исторических условиях, сельское хозяйство Соединенных Штатов проникнуто одним основным типом: *экономией труда* и стремлением к *подъему его производительности*. Нараставшее в стране население растекалось по новым землям; запас земли как бы соответствовал притоку и приросту населения. Зато капиталоемкость хозяйства статистически увеличивалась, так как этим путем достигалась экономия в труде, этом наиболее дорогим факторе сельскохозяйственного производства новой страны.

На 100 акров (т.е. на 37 дес.) сельскохозяйственной площади

Годы	Занято в сельском хозяйстве душ обоюбого пола	Капитала в долларах
1870	1,44	367
1890	1,38	450
1900	1,24	443
1910	1,44	700
1920	1,12	1398

Если хозяину нужна была экономия в труде, то он шел на крупные упряжки лошадей в 4–5 и более лошадей, так же как в Новое время из этих же мотивов хозяйства обратились к тракторам. На степных просторах, до введения механического двигателя, из-за этого упряжки в 30–40 лошадей при одной жатке были системой организации упряжной силы, экономившей затраты чело-

веческого труда. При таких условиях неудивительно, что на 1 десятину под пшеницей требуется за год 2–5 дней труда, кукурузы 4–8 дней, картофеля 15–30, хлопчатника — 15–40 и табака — 50–100 дней. Важнейшая часть работ по отдельным культурам механизирована, затраты на оплату труда составляют 15–20% в составе расходов по зерновым культурам и 30–40% по интенсивным культурам.

Подбирая отрасли и культуры, хозяин стремится путем технической рационализации и затрат капитала достичь наибольшей экономии и производительности труда. В результате этого труд перегружен, переобременен капиталом; на одного работника, занятого в сельском хозяйстве страны, приходится до 1000 рублей капитала в орудиях и машинах и 1500 рублей в скоте.

К земле и ее плодородию у хозяина отношение как к средству той же экономии и подъема производительности труда. Это сказывается во всем. В хозяйствах остается большая площадь под кормовыми угодьями (выгоны и выкосы), в составе посевов большое место остается за сеянными травами и т. п., потому что это — пути минимальных затрат труда на земельную площадь с довольно высокой оплатой результатами этого труда. Плодородие земли в большей части страны еще не восстанавливается, а растрачивается. Там же, где уже взят путь к его восстановлению, это — путь через севооборот с большим посевом трав, путь разброски навозного удобрения (машинным способом) и применения химических удобрений (уже к 1910 г. захватывающих свыше 1/4 всех сельских хозяйств страны). Интенсивность обработки, также учитывающей восстановление плодородия, доводится до пределов его экономической выгоды. Поэтому страна, например, в экстенсивных зерновых районах придерживается умеренных урожаев, несмотря на то что методы получения повышенного, но более дорогого урожая и опытных станциях и хозяйствам известны. Все это ведет к высокой технике и капиталоемкости хозяйства, а в результате и к высокой производительности труда в сельском хозяйстве. В результате такой эволюции производительность труда и земли возрастает, тогда как производительность затрат капитала понижается. Так, составляя валовую продукцию с затратами основных факторов производства, мы получаем следующее.

За 50 лет с 1870 года по 1920 год валовая сельскохозяйственная продукция в расчете:

- на 1 сельскохозяйственного работника увеличилась на 340%;
- на 1 акр сельскохозяйственной площади увеличилась на 210%;
- на 100 долларов, вложенных в орудия, машины и скот, понизилась на 5%.

Обращая внимание не на абсолютные величины, %% (т.к. цены не индексированы по одному уровню), а на соотношение %% между собой, мы видим, что впереди всего был рост производительности труда, затем рост производительности земли. Эффективность

затрат капитала понижалась. Доход с хозяйства довольно высок. В среднем по стране накануне мировой войны (1913–1914 гг.) доход на 1 хозяйство исчислялся в 1594 рубля, из которых 888 рублей можно было отнести на оплату труда хозяина и его семьи, а 706 за счет дохода от собственности. Последующими сопоставлениями мы взвесим величину и значение этого дохода. Пока же укажем, что для среднего хозяйства страны этот доход не мал по своей величине.

Высокая производительность труда в американском сельском хозяйстве не только получена в результате высокой капиталоемкости, но и сама сделала это хозяйство довольно привлекательным для капитала. Но так как индустриальная, торговая и банковая среда представляет еще более интересную сферу для размещения капитала, то он не устремляется особенно энергично в сельское хозяйство. Сравнительно пониженная оплата капитала сельским хозяйством при сложившихся исторических условиях мешает его вхождению в эту сферу производственных отношений.

Поэтому в Соединенных Штатах в целом мы не получаем ни настоящего капиталистического сельского хозяйства, ни потребительски-трудового хозяйства. Это своеобразное сочетание элементов трудового и капиталистического хозяйства делает его высоко предпринимательским хозяйством, в котором на 1 своего рабочего приходится в среднем от $2/3$ до 1 наемного рабочего.

Годы	Сельскохозяйственное население в стране в млн		
	Наемные рабочие	Фермеры-хозяева	Всего
1909	6,0	6,36	12,36
1919	4,2	6,45	10,65

Усиленная механизация сельскохозяйственного труда за последний период (1909–1919 гг.), расширение индустриальности за годы мировой войны — повели к сокращению числа наемных рабочих страны при некотором увеличении фермерского населения за этот период. Доля сельскохозяйственного населения страны убавилась, тогда как производительность сельского хозяйства возросла: одна зерновая продукция возросла с 114 млн тонн (1907–1911 гг.) до 134 млн тонн (1917–1921 гг.).

Так, в сочетании с блестящим развитием капиталистического города и мирового капиталистического хозяйства, сельское хозяйство Соединенных Штатов прошло уже немалый этап своей эволюции, повышая производительность труда, удерживая сельское хозяйство в промежуточных социальных формах, создавая под ногами фермерства ту материальную базу, благодаря которой это фермерство не спускается до положения париев.

Но пройденный путь уже бросил американское сельское хозяйство в пучину трудных социальных вопросов: в стране безостановочно растет процент фермеров-арендаторов (38% к 1920 г.), так же как благодаря высокой капиталоемкости хозяйства становится все большим % заложенных хозяйств (37% к 1920 г.). В арендных и земельно-банковых отношениях кроются те трудные вопросы социальных отношений американской деревни, которые все больше привлекают к себе внимание страны, с все большей тревогой задумывающейся над вопросом: куда приведет этот путь эволюции сельского хозяйства?

IV

Между полюсным состоянием сельского хозяйства Китая и Соединенных Штатов уместается все разнообразие сельскохозяйственной эволюции других стран мира. В частности, и русское сельское хозяйство в своей эволюции размещается где-то между этими двумя полюсами. Вследствие разнообразия в своих районах, в одной его части русское хозяйство является хозяйством более старым, более трудоинтенсивным, размельченным и т. п.; в другой и большей его части, особенно в восточной и южной (в сторону от центрально-земледельческого района), мы имеем дело с еще молодым сельским хозяйством, даже не решившим еще окончательно, по какому пути идти. Тут распутье. Выбор еще предстоит.

Обращаясь к стране в целом, мы легко можем соизмерить ее состояние в отношении позиций Китая и Соединенных Штатов.

Наименование	Китай ²	Россия (дореволюционного периода)	США
Земля			
1 десятина земли по ценности эквивалента:			
дням сельскохозяйственного труда	2160–3240	280–56	103
числу голов рабочего скота	8–12	13,3	1,3
числу местных плугов	125 200	10–17	9,5

2. Средние величины для Китая высчитаны по отрывочным данным разных исследований, для России — по районным данным дореволюционного времени, по США — в средних итогах для страны в целом.

Наименование	Китай	Россия (дореволюционного периода)	США
Капитал			
1 голова рабочего скота по ценности эквивалента:			
дням сельскохозяйственного труда	270	48–89	79
числу плугов	16	8–5	7
Продукты и факторы производства			
Требуется пудов пшеницы для эквивалентности:			
1 десятине	750	42–245	218
1 голове рабочего скота	75	40–70	161
1 плугу	4,6	6–16	23
1 рабочему дню	0,2–0,3	0,6–1,2	4,2
Продукция			
На 1 пуд пшеницы затрата дней труда за год	1,42	0,48–0,26	0,07
Доходы			
Стоимость харчей % от заработной платы	66	33–26	23
На 1 рубль заработной платы валовой приход от продуктов	2,65	3,0–3,8	7,6

Внимательное чтение этой таблицы (являющейся лишь предварительным итогом нашего анализа) вскрывает интересные сравнительные соотношения в организации сельского хозяйства сравниваемых стран.

Труд человека обесценен в Китае в отношении к ценности земли, и наоборот, высоко стоит в Соединенных Штатах: в Китае за 1 десятину надо заплатить 3000 рабочих дней, тогда как в Соединенных Штатах 103 дня. В старой России соотношения были ближе к Соединенным Штатам, чем к Китаю. В отношении сравнительной ценности капитала и земли тенденция такая же, только с меньшим количественным размахом; за 1 десятину в Китае можно купить 8–12 голов рабочего скота, тогда как в Соединенных Штатах всего 1,3 головы; русские соотношения ближе к американским, чем

к китайским: здесь земля не ценится так высоко, как другие средства производства. Но сопоставляя ценность труда и средств производства, мы видим, что в Китае на покупку одной головы рабочего скота потребуется 270 дней труда, тогда как в Соединенных Штатах 79. Относительно средств производства в Китае труд обесценен. Русские соотношения ближе к Соединенным Штатам.

Таково было сравнительное соотношение рыночной ценности основных факторов производства, ставящее русское сельское хозяйство между этими полюсами и держащее его еще довольно далеко от китайского типа сочетаний.

Условия всего народного хозяйства в целом вместе с соотношением основных факторов производства определяют собою и соотношение цен на продукты сельского хозяйства с ценами на факторы производства; в свою очередь, каждый отдельный хозяин берет эти соотношения как готовые и руководствуется ими при построении и организации своего хозяйства.

В Китае за 1 десятину надо уплатить 750 пудов пшеницы, а в Соединенных Штатах — 218; в старой России 1 десятина стоила меньше 100 пудов пшеницы в среднем. Эти соотношения благоприятствовали интенсификации сельского хозяйства не только в Китае, но и в Соединенных Штатах. Таких условий было меньше в России.

Зато соотношение ценности труда и продукта в старой России было в 3–4 раза более выгодным для труда по сравнению с Китаем, а в Соединенных Штатах в 4–7 раз выгоднее по сравнению с Россией. Эти соотношения и заставляли отдельных хозяев разных стран так глубоко по-разному организовывать свое хозяйство со всеми проистекавшими из этого результатами. В результате физическая производительность русского сельскохозяйственного рабочего дня в земледелии выше в 3–6 раз китайского, а американского сельскохозяйственного рабочего дня в 4–7 раз выше русского.

Разница в *физической производительности*, как видим, колоссальна. Но если эти различия мы рассмотрим под углом зрения ценностных соотношений, т.е. продукцию в ценностных величинах сопоставим с затратами труда в ценностных величинах, то хотя 1 рубль, затраченный на заработную плату сельскохозяйственного рабочего, в Китае будет менее оплачен валовым приходом, чем в России и в Соединенных Штатах, но разница будет уже в значительно меньшей степени. В задачу нашей статьи не входит выяснить сравнительное значение использования натуралистического и ценностного измерителя дохода и производительности труда; получаемое различие целиком объясняется всем очерченным различием народно-хозяйственного строя каждой из стран.

Как один из результатов всех этих соотношений является та доля чистой заработной платы сельскохозяйственного рабочего, ко-

торая идет на покупку его харчей. В Китае $\frac{2}{3}$ заработной платы рабочий вынужден проедать. При всей скудости его питания заработная плата так низка, что подавляющая ее часть уходит на самое плохое и скромное питание. В результате сельские хозяева — парии. В Соединенных Штатах менее $\frac{1}{4}$ заработной платы сельскохозяйственного рабочего дня уходит на питание. Положение сельского населения совершенно иное. В старой России доля харчей в чистой заработной плате была от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{3}$. Производительность сельскохозяйственного труда, пройдя через всю систему организации хозяйства и через систему социальных и классовых отношений, отражается на высоте дохода работника в сельском хозяйстве, устанавливая в конечном итоге и все его общественное положение как класса или социальной группы.

Старая Россия накануне революции стояла на этом великом распутье. Старые социальные сословные отношения, хотя бы и в виде остатков земельных отношений, заставляли сельского хозяина ставить свой труд в невыгодное отношение к земле; капитал был в неблагоприятном отношении с трудом; рыночные расценки сельскохозяйственных продуктов лишь в последние два десятилетия перед революцией, с форсированным развитием отдельных ветвей капитализма в России, стали приходить в более благоприятные соотношения с факторами производства для развития интенсивности. Но выбор не был еще окончательно сделан.

Некоторые географические сопоставления говорят нам об уклоне в сторону трудоинтенсификации с малым ростом капиталоемкости и раздроблением хозяйства. В результате этого растет производительность земли, но падает оплата труда валовым доходом от сельского хозяйства (диаграмма 1).

Нас может утешать лишь то, что не всюду эти соотношения встречаются, а главное, что приведенная диаграмма построена на *географических* сопоставлениях. Вероятно, в отдельных случаях и районах начата перестройка, и интенсификация могла идти и пошла более благоприятным для нас путем. Так, по крайней мере, хочется верить. Несмотря на разрушение, пронесшееся над сельским хозяйством СССР в связи с империалистической и гражданской войной и революцией, в быстро восстанавливающейся деревне пробуждаются такие новые силы и искания, которые позволяют с большой надеждой смотреть на выбор пути в этом распутье.

Если взять Южную Германию с ее однодесятинными хозяйствами или Чехию, Моравию, Бельгию, то мы встретим и там высокую интенсивность сельского хозяйства, стоящего далеко впереди русского, но хозяйства с относительно пониженной производительностью труда. Сельское хозяйство отдельных мест Западной Европы силится выскочить из того русла, идя по которому оно попадает на путь Китая. Швейцария, Дания, отчасти Франция имеют также места и с такими попытками. Основное и характерное для них — это

Диаграмма 1. По данным 1916 г. для южных губерний России

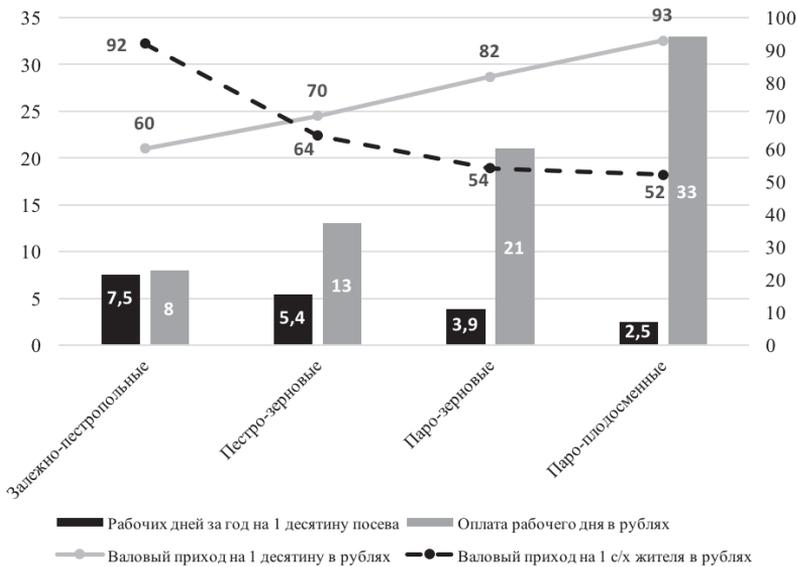
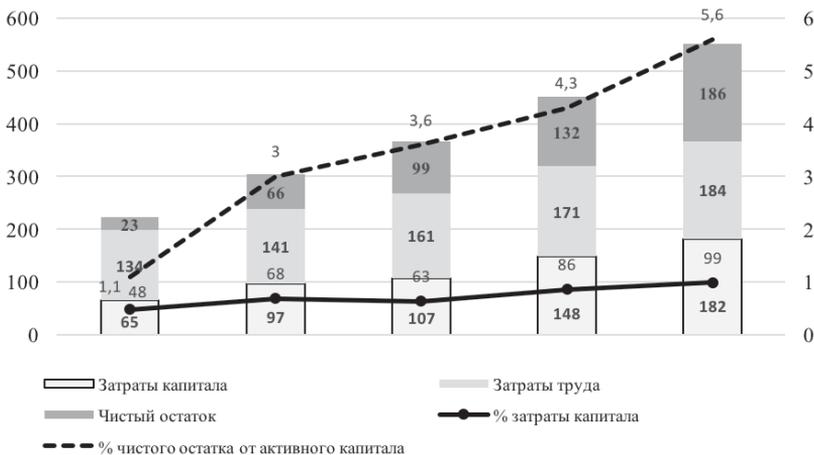


Диаграмма 2. Группы хозяйств по степени интенсивности организации сельского хозяйства на 1 десятину в рублях (швейцарский бюджет, 1906–1915 гг.)



стремление при каждом новом шаге в сторону интенсификации усиливать капиталоемкость быстрее трудоинтенсивности. Это движение требует факторов, которые устанавливаются в процессе преобразования отдельных стран, участников единого мирового хозяйства, со всей современной системой рынков, индустриального и торгового капитализма и т. п. Для благоприят-

ного соотношения оценок основных факторов требуется в настоящее время мировая конъюнктура для продуктов сельского хозяйства, избыток капиталов и высокая расценка труда. Совокупность таких условий в теперешнем периоде мирового хозяйства есть результат высоких ступеней экономического развития. Следующий, *швейцарский* материал рисует исключительно интересный случай, когда, чем интенсивнее хозяйство, тем оно производительнее (с точки зрения производительности всех трех основных факторов), благодаря тому, что на каждой очередной ступени интенсификации доля затрат капитала становится все большей (диаграмма 2).

Капиталоинтенсификация вместе с новой техникой, обычно вносимой в хозяйство при помощи капитала, создает возрастающую производительность последовательно увеличивающихся затрат труда и капитала. Условия этого пути достаточно охарактеризованы выше.

Европа, вступив вместе с мировой войной и русской революцией в новый период своей истории, завеса которого еще недостаточно открыта для нас, стоит перед проблемой: *сможет ли она в новый период своей истории обеспечить сельскому хозяйству благоприятную рыночную конъюнктуру при высокой оценке труда и избытке капиталов.*

В зависимости от решения этого вопроса будут складываться и организация сельского хозяйства и социальные отношения в деревне, а вместе с этим определится и та роль, которую сможет играть деревня в жизни всего общества.

Действительно, мир подошел к великому распутью³.

At the great crossroads. The comparative analysis of the evolution of agriculture in China, the United States of North America, the USSR, and Western Europe

This article published in the mid-1920s in the *Peasant International* was written by an outstanding Russian agrarian scientist and a prominent representative of the organization-production school Nikolai Pavlovich Makarov (1887–1980). It is quite strange that this article was not listed in the bibliographies of Makarov's works although it is absolutely important for the understanding of the evolution of world agriculture in the 20th century. Moreover, the reader will see that in the second half of the 1920s the ideas of this article were developed in the works of other representatives of the organization-production school — A.V. Chayanov, G.S. Studensky, A.A. Rybnikov. As the title and the foreword of the article show, the author seeks to provide an analytical description of the main directions of the world agrarian evolution of the 1920s and its possible alternatives on the example of four main macro-regions of world agriculture: the USA, China, Western Europe and Russia. First the author focuses on the two so-called "poles" of

3. Так как данный очерк является лишь главой целой работы, то автор не считает себя обязанным в данном очерке дать прогноз выхода Западной Европы из этого распутия.

agrarian development—the United States and China—and argues that “old” labor-intensive agrarian China and the “young” capital-intensive agrarian United States are the exact opposites of each other. It is between these poles that the paths of the agricultural evolution of most countries of the world, including Europe and Russia, are located. Makarov concludes with a preliminary diagnosis of the approaching “great agrarian crossroads” of world agriculture.

Key words: agriculture, USA, China, Western Europe, Russia, agrarian evolution, peasants, farmers.

Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце?

И.А. Кузнецов

Игорь Анатольевич Кузнецов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: repytwd68@mail.ru

Целью статьи является постановка вопросов о путях дальнейшего изучения экономической истории сельского хозяйства и крестьянства регионов России периода 1861–1914 годов. В статье критически анализируется концепция российских революций Б.Н. Митрофанова, выявляются логические противоречия в ее аргументации. В основе этой концепции видится переоценка значимости случайных и субъективных факторов, недооценка фактора аграрного перенаселения и экономических противоречий, порожденных аграрным развитием. Через критику «оптимистической» парадигмы экономической истории пореформенной России намечаются задачи исследования аграрного развития и его социальных последствий для крестьянства. Предлагается к обсуждению тезис, что хозяйственный прогресс и рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в черноземных регионах юга и юго-востока с низкими издержками производства выступал фактором кризиса относительного перепроизводства зерна в России. Значительный слой мелких крестьянских хозяйств районов старого земледельческого центра, будучи неконкурентоспособными на зерновом рынке, вытеснялись с рынка, маргинализировались, закрепляя натурально-потребительский характер и утрачивая стимулы к интенсификации. Рыночные ограничения, создаваемые перепроизводством зерна, являлись важным фактором аграрного перенаселения в центральных регионах страны. Институциональные ограничения, существовавшие до столыпинской реформы, усугубляли аграрное перенаселение. Аграрное перенаселение создавало социальную базу аграрной революции. Содержанием аграрной революции 1917 года было укрепление позиций семейно-трудового хозяйства с традиционной технологией за счет уничтожения платы за доступ к земле как главному фактору производства.

Ключевые слова: история российских революций, аграрная революция, аграрное перенаселение, крестьянское хозяйство, модернизация, Б.Н. Митрофанов

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-22-44

Модой новейшей историографии является отрицание экономических предпосылок революции 1917 года. Наиболее последовательно и аргументированно эта позиция проводится в трудах Б.Н. Митрофанова: большой монографии о благосостоянии населения России за два века (Митрофанов, 2012а), огромном обобщающем трехтомнике (Митрофанов, 2015) и длинном ряде примыкающих к ним статей.

Конечную цель своей работы историк видит в том, чтобы скорректировать устоявшийся имидж царской России как страны отсталой в экономическом и политическом отношении и тем самым повлиять на общественное сознание современных россиян, избавить их от стереотипов «исторической неполноценности... особенно в присутствии иностранцев», привить чувство национальной гордости (Миронов, 2012а: 12–16). Факт революции омрачает картину настолько, что Миронов порой предлагает читателям вынести его за скобки, забыть о нем: «Попробуем свежим взглядом посмотреть на развитие России в пореформенный период, забыв о печальном конце, наступившем в 1917 году» (Миронов, 2012б: 67). Такая позиция историка представляется реакцией на банкротство советской историографии, которая описывала революцию как освобождение народов России от всяческого гнёта и эксплуатации и выход страны на путь подлинного социально-экономического прогресса. Когда коммунистический миф растаял, сместились многие точки отсчета в изучении как советского, так и дореволюционного периодов истории. Однако уйти от проблемы 1917 года не получается, вопросы: как и почему успешное развитие завершилось «печальным концом», требуют ответов, и историк вынужден давать те или иные объяснения.

В данной статье я предполагаю рассмотреть, в чем заключается концепция российской революции Б.Н. Миронова и в чем видятся ее слабые места, чтобы попытаться предложить иной ракурс исследования аграрной эволюции России.

1

Образ царской России в последний период ее существования, рисуемый Б.Н. Мироновым, — это нормальная, а не какая-то особенная или исключительная страна, страна именно европейская, а не азиатская, развивающаяся так же или почти так же быстро и успешно, как и ее западные соседи в Европе. Период от отмены крепостного права до революции, или, по крайней мере, до начала Первой мировой войны, Миронов называет «экономическим чудом»: «В России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. Экономика стала рыночной: экономические решения принимались индивидуально (бизнесменами, торговцами, сельскохозяйственными производителями), цены устанавливались в результате действия стандартных рыночных механизмов. В 1861–1913 гг., за 52 года, национальный доход увеличился в 3,84 раза, а на человека — в 1,63 раза, индекс человеческого развития — с 0,171 до 0,308. Душевой прирост объема производства равнялся 85% от средневропейского. С 1880-х гг. темпы экономического роста стали выше не только средневропейских, но и «среднезападных». Национальный доход возрастал на 3,3% ежегодно — это... только

на 0,2% меньше, чем в США, — стране с самыми высокими темпами развития в мире. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами. Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило повышение его благосостояния В пореформенный период был достигнут значительный прогресс не только в экономике, но во всех сферах жизни» (Миронов, 2012а: 659). И т. д.

На аргументацию такого рода можно возразить, что высокие темпы роста отражают эффект низкой базы. Однако для нашей темы важнее, не останавливаясь на этом моменте дискуссии, перейти к анализу причин революции в концепции Миронова. И так, по его мнению, быстрый рост и успешное развитие всех сфер экономики и общества свидетельствуют о том, что «русские революции начала XX века произошли не по социально-экономическим, а по политическим и культурологическим причинам» (Миронов, 2014: 128). Каким именно? Сформулировать это не так просто, поскольку при изложении позитивных ответов позиция историка от работы к работе меняется.

В одной из работ исследователь рассмотрел целый ряд социологических концепций (марксистско-ленинская, мальтузианская, структурно-демографическая, просто структурная, политические, психосоциальные, институциональная) и решительно отдал предпочтение институциональной концепции, которая «удачно синтезирует все вышеперечисленные концепции революции и хорошо объясняет происхождение Русской революции 1917 года» (Миронов, 2012а: 635). Главное, указывал он, с ее помощью можно объяснить, каким образом «быстрый экономический рост является важнейшей предпосылкой революции» (Там же: 632). Логика этого объяснения проста: быстрый экономический рост нарушает стабильность, приводит общество в движение, чем создает риски социальных взрывов. Миронов формулирует это таким образом: «Бурный экономический рост и всесторонняя трансформация российского социума создали высокий накал социальной напряженности в обществе и ввели страну в зону риска. Реформы «сверху» устраняли один за другим мешавшие модернизации ограничители, встроены в традиционную институциональную систему (круговую поруку, помещичьи общества и цехи, передельную общину, сословные ограничения социальной мобильности, монополию коронной бюрократии и монарха на власть, законы, ущемлявшие гражданские права, и т. д.), и тем самым создавали возможность избежать революции. Поскольку смена институциональных систем — длительный, болезненный и противоречивый процесс, для выхода из зоны риска требовалось значительное время — хотя бы лет двадцать, как говорил П.А. Столыпин, социального покоя. Но этому поме-

шала война, нарушившая эволюционный путь развития. Тяготы войны, помноженные на безответственное поведение либеральных и революционных элит и ослабление государственной власти, оказались непереносимыми для общества» (Там же: 635). Если вдуматься, то данная теория объясняет модернизацию России через институциональные трансформации, но она не объясняет причины революции. В самом деле, согласно Миронову, если бы не было войны, институциональные изменения продолжались бы путем реформ, стимулируя модернизацию и не вызывая никакой необходимости в революции. Следовательно, конечной причиной российской революции здесь признается война, которая застала страну на стадии глубокой институциональной трансформации и «нарушила эволюционный путь развития». Однако для объяснения возникновения Первой мировой войны, ее характера, длительности и глубины воздействия на российское общество институциональная теория совершенно не пригодна. Война явилась событием случайным по отношению к институциональной трансформации и никак с ней не связанным.

В более поздней книге Миронов, говоря о предпосылках революции, уже не ссылается на институциональную концепцию, апеллируя к теории модернизации. «Как неоспоримые успехи страны совместить с ростом в эти годы недовольства и оппозиции режиму, с развитием всякого рода протестных движений, которые в конечном счете привели к революции 1917 года? — спрашивает он и сам же отвечает: — Современная теория модернизации объясняет этот парадокс. Как и в других странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в ряде случаев и преждевременное проведение потребовало больших издержек и даже жертв — например, со стороны помещиков, у которых государство принудительно экспроприировало землю, хотя и за компенсацию. Это привело к лишениям и испытаниям для отдельных групп россиян и не принесло равномерного благополучия сразу и всем. Велики оказались и побочные негативные последствия модернизации — увеличение социальной и межэтнической напряженности, конфликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях — от самоубийства до социального и политического протеста. Необыкновенный рост всякого рода протестных движений порождался, с одной стороны, дезориентацией, дезорганизацией и социальной напряженностью в обществе, с другой — полученной свободой, ослаблением социального контроля и возросшей социальной мобильностью, с третьей — несоответствием между потребностями людей и объективными возможностями экономики и общества их удовлетворить. Общество испытало так называемую *травму социальных изменений, или аномию успеха* (здесь и далее курсив автора. — И.К.)» (Миронов, 2015: 689–690). Таким образом, согласно данной трактовке, модернизация России травмировала общество, породила в стране аномию, то есть состояние запутанности и дезориентации, которое,

в свою очередь, привело к революции. При этом автор настаивает, что модернизация была «неоспоримо» успешной. Однако, с другой стороны, тут же добавляет ряд дополнительных характеристик, которыми подчеркивает специфику российской модернизации: страна была «второго эшелона», сама модернизация была «ускоренной» и даже «преждевременной», хотя и не вся, а лишь «в ряде случаев». В итоге читателю остается не ясным: явилась ли революция вследствие успехов модернизации или вследствие ее особенностей на российской почве? И надо ли сделанные автором оговорки понимать так, что если бы модернизация в России началась попозже и проводилась в более медленном темпе, то общество не впало бы в аномию, и не произошло бы революции? Наконец, можно было бы спросить: если жертвы на алтарь модернизации принесли помещики, то почему восстали крестьяне?

Автор не ставит таких вопросов, но снова вводит в свое объяснение фактор мировой войны и как бы попутно отмечает и другие факторы: «В тот момент, когда на страну обрушилось тяжелейшее испытание Первой мировой войной, модернизация была далека от завершения. Насущные болезненные российские общественные проблемы: аграрная, рабочая и этноконфессиональная, социально-экономическое неравенство, культурный раскол общества, низкий уровень жизни, несмотря на его повышение, — оказались еще нерешенными» (Там же: 690). Таким образом, начав с заявления, что возникновение революции можно объяснить теорией модернизации, Миронов в итоге констатировал, что модернизация в России, хотя и шла неоспоримо успешно полвека, осталась незавершенной, потому что была прервана Первой мировой войной, и в стране остались нерешенными целый ряд насущных общественных проблем, которые должна была, но не успела решить модернизация. Если быть последовательным, то надо признать, что в таком случае объяснением революции выступает или война, или комплекс нерешенных общественных проблем, и теория модернизации, вопреки исходной посылке, не объясняет происхождение революции.

Показательным в этом отношении является следующее рассуждение историка: «...Социально-экономический и политический строй, сложившийся в России в результате Великих реформ 1860–1870-х годов и реформы 1905 года (в его основе лежали частная собственность, рыночная экономика, развивавшиеся гражданское общество и правовое государство), обеспечивал хорошие возможности для всестороннего прогресса России. Для полного успеха нужны были только время и мир ... Однако мирное развитие страны прервали Русско-японская война и Первая русская революция 1905 года, а затем Первая мировая война и Вторая русская революция 1917 года. Тяготы последней оказались столь значительными, что российскому обществу, переживавшему процесс модернизации, не удалось с ними справиться» (Там же: 541). Революции вместе с войнами рассматриваются здесь как случайные, сугубо

внешние по отношению к процессу модернизации явления, которые обрушивались на Россию наподобие землетрясений или метеоритов. Процесс модернизации не имел к ним никакого отношения, кроме того что они его прерывали. Если же говорить о причинах революции, то они снова сводятся к «тяготам» войны, с которыми России не удалось справиться.

На этой точке зрения Миронов, однако, не удержался и в последние годы подверг ревизии тезис о «тяготах» войны. Согласно его новейшим работам, «во время войны не возникло непреодолимых объективных предпосылок для революции» (Миронов, 2017б: 709). Под объективными имеются в виду экономические. Экономика, по его убеждению, функционировала успешно вплоть до свержения монархии, а настоящий экономический кризис начался лишь после революции и был обусловлен ею: «В годы Первой мировой войны 1914–1916 годов правительство и предприниматели сумели перевести российскую экономику на военные рельсы в соответствии с новыми требованиями и потребностями. Эта адаптация стала возможной благодаря успешному развитию России в довоенный период. После свержения монархии начался тотальный экономический кризис, который усилился после захвата власти большевиками и к 1920 году достиг своего апогея» (Миронов, 2017б: 694). «Не чрезвычайные трудности породили революцию, а революция породила чрезвычайные трудности», — так звучит его новый тезис (Миронов, 2017 б: 709).

Существенных проблем, связанных с войной, в России, оказывается, не было или они успешно решались: «Уровень жизни до 1917 года поддерживался на довоенном уровне» (Там же). В течение Первой мировой войны «в сельском хозяйстве положение можно оценить как нормальное: оно развивалось так же, как до войны, испытывая сильное влияние погоды» (Миронов, 2017а: 467). В особенности Миронов акцентирует внимание на прогрессе животноводства: «Об отсутствии признаков кризиса в сельском хозяйстве до 1917 года говорит беспрецедентный рост поголовья скота. <...> Число лошадей в 1916 году сравнительно с 1913 годом на сопоставимой территории увеличилось на 4%, несмотря на большие реквизиции <...> крупного рогатого скота — на 20% и мелкого — на 45%» (Там же: 468). Последние цифры невозможно оставить без комментария, хотя анализ статистики в принципе выходит за рамки данной статьи. Поголовье скота 1916 года Миронов дал по сельскохозяйственной переписи 1916 года, тогда как цифры довоенного времени — по текущей административной статистике. Эти данные несопоставимы, и этот вопрос уже подробно рассмотрен в историографии (Вайнштейн, 1960; Нефедов, 2011).

Итак, отбрасывая одно за другим все объяснения причин революции, которые могли бы быть как-либо связаны с экономическим развитием царской России, Миронов четко артикулирует лишь субъективные и социально-психологические факторы. Говоря о со-

циально-психологических факторах, он особенно выделяет феномен относительной депривации. За этим сложным термином скрывается простое явление: «Рост потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все слои постоянно хотели больше того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой культуре и невысокой производительности труда» (Миронов, 2012а: 642). В другой публикации, воспроизводя этот же пассаж, историк после слов «все слои населения» добавляет характерное уточнение: «и интеллигенция в наибольшей степени» (Миронов, 2012б: 89).

Ведущую роль в объяснении революции Миронов отводит действиям оппозиции. Порой он, кажется, готов вообще свести к этому все причины революций: «Причины русских революций начала XX века лежали в сфере политики, в борьбе за власть между либеральной и революционной оппозицией и монархией» (Миронов, 2014: 128). Распространение в массах оппозиционных и революционных настроений, забастовок и протестного движения видится следствием исключительно искусственных пиар-технологий, применявшихся революционерами (Миронов, 2012а: 610–620). Так, говоря о сборе пожертвований для помощи голодающим и изучении причин неурожая, Миронов интерпретирует их как «резонансные PR-ходы» неких «либералов» (Там же: 613); «дело Бейлиса» — «тоже PR-ход», использованный для «осуждения российских властей во всемирном масштабе» (Там же: 614). Перечисляя сдвиги в общественных настроениях в годы Первой мировой войны, Миронов также подводит под них свою интерпретацию: «Политической элите с помощью прессы удавалось манипулировать настроениями народа...» (Там же: 617) и т. д.

Подобные утверждения, если они делаются в научной работе, нуждаются в доказательствах, которых Миронов не приводит. Политологическая составляющая его концепции вообще очень слаба, по существу, она представляет собой набор авторских интерпретаций известных исторических фактов, которые, если их собрать вместе, складываются в достаточно стройную консервативно-монархическую идеологию. В которой социальный и политический протест видится лишь разновидностью девиантного поведения (см. цитированное выше: «девиантность во всех ее проявлениях — от самубийства до социального и политического протеста»), а не одним из базовых прав граждан демократического государства. Идеология, как известно, не требует доказательств. Предполагается, что не «элиты», «либералы», оппозиционеры и революционеры манипулировали массовым сознанием, а, наоборот, сама позиция «элиты», «либералов», оппозиционеров и революционеров могла быть обусловлена настроениями масс, в работах Миронова, кажется, вообще не рассматривается. Народ, массы и общественное сознание в его дискурсе выступают всегда объектом, но не субъектом политики. Его идея проста: народ стоял вне политики и поддерживал

монархию, а революционеры своим антиправительственным пиаром его смущали, в итоге «опозиция оказалась искусней и успешней и выиграла информационную войну» (Там же: 615). Тот же тезис повторяется и в новейших его работах: «С помощью четкого и продуманного общения с властями, посредством поддержания связей со всеми социальными группами и умелой манипуляции общественным мнением оппозиция создала в стране атмосферу экономического и политического кризиса, подготовила почву для революции, завоевала сердца и умы людей и вывела народ на улицы в решающий момент, воспользовавшись недовольством, вызванным войной» (Миронов, 2017б: 709–710). Кризиса не было, но оппозиция создала «атмосферу кризиса»...

Основной недостаток такого рода объяснений в том, что если важнейшей причиной революции считать деятельность революционеров, то вместо объяснения мы получаем тавтологию. Слабость этого подхода наиболее заметна при обращении к аграрно-крестьянским сюжетам российских революций.

2

Аграрная революция была неотъемлемой частью российской революции. За этим термином стоит целый комплекс исторических событий и процессов. Для периода осени 1917 — зимы 1918 года это, как правило, отказ крестьян от уплаты налоговых, арендных и прочих платежей, коллективные захваты частновладельческих земель, поместий, разгромы и разграбление дворянских усадеб, раздел между крестьянами помещичьего скота, инвентаря, семян, прочего сельскохозяйственного и бытового имущества. С этого же момента и до начала 1920-х годов происходил так называемый черный передел — уравнильный передел крестьянскими общинами земель, как бывших частновладельческих, так и надельных, в итоге которого был уничтожен сектор крупных частных и арендаторских хозяйств, и утвердилось господство мелкого семейно-трудового (трудопотребительского) хозяйства с общинным чересполосным землепользованием. Итоги аграрной революции были зафиксированы рядом законодательных актов — «Декрет о земле», «Основной закон о социализации земли», Земельный кодекс 1922 года, — узаконивших трудовое право пользования землей, принципы уравнильного наделения и фактическую национализацию земли.

Для большинства современников и всех объективных исследователей, независимо от их политических взглядов, было очевидно, что результаты аграрной революции отражали давние стремления огромных масс крестьян, пытавшихся упрочить положение собственных хозяйств теми средствами, которые им подсказывали традиционные крестьянские представления о мироустройстве и принципах хозяйствования. Эти представления были утопичны,

но эта утопия была именно крестьянской. Попытки отыскать побудительные мотивы крестьянского движения вовне, в революционной пропаганде либералов и социалистов не находят эмпирического подтверждения в источниках. По данной теме существует огромное количество литературы, напомним лишь выводы наиболее значительных работ.

Специальное исследование О.Г. Буховца было посвящено изучению политического сознания крестьянства в годы первой российской революции и в период до Первой мировой войны по материалам крестьянских приговоров и наказов депутатам Думы, а также крестьянских протестных акций. Работа строилась преимущественно на источниках Воронежской, Самарской губерний и Белоруссии и на количественных методах анализа источников (Буховец, 1996). Выводы автора оказались однозначными. Для периода 1905–1907 годов он признал «совершенно бесспорным “почвенный” характер приговоров и наказов» и особенно подчеркнул, что «эта почвенность — *политична*» (Там же: 227). Мнение, что крестьяне не имели собственных политических целей, историк называл «курьезным». Для периода 1907–1914 годов он констатировал: «...Удивительно низким оказался выявленный коэффициент эффективности революционной пропаганды в деревне: реальное крестьянское движение подпитывалось собственными мотивами. Мотивации, предлагавшиеся агитаторами, как правило, не воспринимались крестьянами. Вот почему в рассматриваемое семилетие политическая пропаганда и агитация, с одной стороны, и крестьянское движение, с другой, вновь, как и в предреволюционный период, стали сосуществовать практически параллельно, почти не пересекаясь» (Там же: 326–327).

Возможно, менее доказательна работа О.А. Суховой, построенная на менее строгих, описательных методах анализа источников, однако огромное количество собранных в ней сведений о крестьянском движении в Среднем Поволжье в начале XX века подтверждает интерпретацию крестьянского участия в революциях как порождаемого внутренними причинами и автономного по отношению к внешним пропагандистским воздействиям (Сухова, 2008). Стихийность крестьянского движения во время революции не означала его беспорядочности и анархии, крестьяне на локальном уровне проявляли способность к самоорганизации. Механизм самоорганизации выступала община. Агитация и пропаганда со стороны активистов различных политических партий, безусловно, присутствовала в деревне, но крестьяне воспринимали из речей агитаторов лишь то, что хотели услышать, чересчур радикальных и зовущих крестьян не туда, куда они считали нужным, толпа могла избить и сдать полиции. Подлинными лидерами протеста выдвигались из деревенской среды. Погромы помещичьих усадеб совершались крестьянами коллективно и находили свое идейное оправдание в глубинных пластах крестьянского сознания, а не в политической агитации извне.

Заслуживает внимания исследование, проделанное коллективом историков, о численности местных организаций политических партий в России в 1905–1907 годах (Киселев, Корелин, Шелохаев, 1990). В частности, были подсчитаны коэффициенты корреляции между численностью партийных организаций в губерниях Европейской России и различными признаками, характеризующими социальный и экономический облик каждой губернии. С точки зрения обсуждаемого вопроса важно отметить, что коэффициенты корреляции с долей занятых в сельском хозяйстве среди населения губерний оказались отрицательными для всех партий (см. таблицу). При этом коэффициенты корреляции с долей городского населения в губернии оказались положительными. Для черносотенцев (Союз русского народа), численность которых устанавливалась по весьма неполным данным, значения коэффициентов оказались статистически незначимыми, но их знаки — те же, что и у других партий.

Иными словами, чем более урбанизированной была губерния в начале XX века, тем более многочисленными в ней были партийные ячейки всех российских политических партий. И наоборот, чем сильнее в губернии преобладало земледельческое население, тем малочисленнее там были ячейки всех партий. Причем это относится и к партии эсеров, позиционировавшей себя в первую очередь как партия трудового крестьянства. Думается, из этого следует, что политические партии в России вообще были явлением городским, а крестьянство в массе своей стояло вне партийной политики.

Таким образом, убеждение наивных монархистов и чиновников царской полиции, транслируемое сегодня в работах Б.Н. Миронова, что в подготовке и организации революции решающую роль играла «либерально-демократическая общественность», пиар и информационная война, в отношении аграрно-крестьянской составляющей революции является совершенно необоснованным.

Активная роль крестьян и победа крестьянского движения сделали российскую революцию 1917 года непохожей на европейские революции. В исторической концепции Миронова этот вопрос не ставится. Не случайно одна из его статей о российской революции озаглавлена «По классическому сценарию», что уже задает определенный ракурс: исследователь не склонен обсуждать особенности российской революции, отмечая лишь ее общие черты с другими революциями. Как же, по его мнению, выглядит этот «классический сценарий»? «Страна погрузилась в революцию, которая проходила в соответствии с классической моделью — кризис “старого режима”; установление власти “умеренных”; победа радикалов, создающих “царство террора и добродетели”; термидор, или контрреволюционный переворот, и постреволюционная диктатура» (Миронов, 2012 б: 102). В этом «сценарии» в качестве модели использована история Великой французской революции. Многие рос-

Таблица. **Корреляционные связи между численностью партийных организаций и некоторыми факторными признаками**

	РСДРП	Партия социалистов-революционеров	Конституционные демократы	Октябристы	Союз русского народа
Корреляция с долей городского населения в губерниях	0,63	0,76	0,88	0,88	0,06
Корреляция с долей занятых в сельском хозяйстве среди населения губерний	-0,77	-0,75	-0,82	-0,87	-0,14

Источник: Киселев, Корелин, Шелохаев (1990): 80 (строки 3 и 13), 86–87¹.

сийские революционеры, прежде всего сами лидеры большевиков, любили проводить параллели между русской и французской революциями. Однако надо отметить, что в этом сравнении речь идет исключительно о сходстве внешней событийной канвы, исключая из анализа социальное и экономическое содержание, которое у революций французской и российской было различным. Французский термидор покончил с той социальной линией революции, которая в России в результате сталинского «термидора»² как раз и стала господствующей. В революциях, происходивших, согласно Миرونору, «по классическому сценарию», конечно, бывало немало бунтов, грабежей, конфискаций и переделов имущества, но никогда результатом революции не становилось упразднение собственности. «Классический сценарий», как известно, оканчивался не «Декретом о земле» и тем более не коллективизацией, а «Кодексом Напо-

1. Численность местных партийных организаций авторы брали по 47 губерниям Европейской России (без Прибалтики), при этом РСДРП также без Гродненской и Олонецкой губерний, ПСР — без Подольской и Ярославской губерний, СРН — всего по 37 губерниям.
2. Я не придерживаюсь трактовки установления единоличной власти Сталина как «термидорианского переворота», но в данном контексте готов использовать термин, предлагаемый оппонентами.

леона», провозгласившим неограниченное право частной земельной собственности. Следовательно, революция в России произошла далеко не «по классическому сценарию». Это требует объяснения и снова возвращает нас к вопросу о характере экономического и социального развития России в конце XIX — начале XX века.

Если Россия до 1917 года, как доказывает Б.Н. Миронов, двигалась в том же направлении, развивалась на тех же основах, что и западноевропейские страны, переживала те же процессы в экономике, политике и социальном развитии, не имея качественных отличий, то почему 1917 год смог изменить ее траекторию? Что вывело страну за пределы так называемой западной цивилизации в цивилизацию советскую?

Если революция возникла в тот момент, когда Россия переживала процесс устранения институциональных ограничений, мешавших модернизации, то почему революция не стала ни катализатором, ни продолжением тех институциональных сдвигов, которые наметились и происходили до нее? Ведь европейские революции, известные в XVII—XIX веках, разрушая монархии и феодальное сословное общество, расчищали дорогу для дальнейшего роста рыночных отношений, буржуазного общества и правового строя. Почему российская революция не укрепила, а разрушила рыночную экономику, уничтожила зарождавшиеся основы правового строя и гражданского общества, похоронила право собственности, но при этом реанимировала, казалось, уже умиравшую передельную крестьянскую общину, монополию бюрократии (названную теперь советской) на власть, законы, ущемлявшие и уничтожавшие гражданские права, и т. д., то есть всё то, что, как показано в работах Миронова, уже уходило и чуть ли не ушло в небытие в предреволюционный период?

Очевидно, концепция, согласно которой царская Россия шла европейским путем, в ней происходила модернизация и «экономическое чудо», не охватывает всего спектра проблем и представляется как минимум недостаточной. Прежде всего в эту концепцию плохо укладывается так называемый аграрный вопрос.

3

Отношение Б.Н. Миронова к аграрному вопросу двойственное. С одной стороны, он готов поставить его первым в ряду «наущных болезненных российских общественных проблем» (см. выше), с другой — стремится преуменьшить его значимость. Рассмотрим, как в его концепции трактуются два важнейших элемента этой проблемы: аграрное перенаселение и бедность значительных масс крестьянства накануне революции.

В работах Миронова вообще можно найти немало противоречивых суждений. Одно из таких противоречий касается аграрно-

го перенаселения. Оценки, которые историк дает этому явлению, различаются до противоположности в зависимости от того, в каком контексте оно возникает. Когда историк повествует об успехах дореволюционной модернизации, он утверждает: «...Общего перенаселения в масштабе страны не наблюдалось, а проблема избытка рабочих рук, существовавшая в некоторых местностях, решалась простым переселением и улучшением агротехники» (Миронов, 2012а: 610). Когда Миронову требуется объяснить, почему в период Первой мировой войны мобилизации мужчин-работников в армию не могли подорвать сельскохозяйственное производство, он вспоминает: «Однако до войны в деревне существовало значительное аграрное перенаселение. В 50 губерниях Европейской России оно оценивалось в 52% в 1900 году и в 56% в 1914 году от общего числа рабочих рук, это примерно 23 и 30 млн работников соответственно. Причем дефицит наблюдался во всех губерниях, хотя в разной степени — от 12% в Самарской до 69% в Тамбовской (1900 г.) ... Благодаря этому призванным в армию 47% трудоспособных мужчин нашлась замена» (Миронов, 2017а: 469–470). Здесь историк привлек уже максимальные имеющиеся в литературе оценки масштабов аграрного перенаселения, которые к тому же демонстрируют — вопреки предыдущим его утверждениям — отнюдь не решение, а нарастание проблемы от 1900 к 1914 году.

Наличие взаимоисключающих утверждений, используемых ситуативно, по-видимому, свидетельствует об отсутствии у Миронова сколько-нибудь последовательной позиции в изучении аграрной истории пореформенной России.

В связи с этим стоит и брошенный им вскользь тезис, что «проблема избытка рабочих рук» решается «улучшением агротехники» (Миронов, 2012а: 610). Какого рода улучшения имеются в виду? Все улучшения агротехники, повышающие продуктивность хозяйства за счет повышения производительности труда, не только не решают проблему избытка рабочих рук, но, наоборот, усугубляют ее. Рост производительности труда ведет к высвобождению рабочих рук и увеличению сельской безработицы. Следовательно, в этом утверждении, если быть последовательным, может идти речь лишь о таких изменениях агротехники, которые увеличивают трудозатратность сельского хозяйства. О желательности именно такого рода изменений в конце XIX — начале XX века много писали экономисты народнического направления, называя это повышением трудоинтенсивности и считая его магистральным путем прогресса для крестьянского хозяйства. В этом, во ввязывании все возрастающего количества народного труда в землю, они, между прочим, видели и лучший для России способ избежать пролетаризации деревни и, соответственно, избежать развития индустрии, чтобы не пойти по пути западноевропейских капиталистических стран. В концепции модернизации, которую отстаивает Миронов, такой ход мысли

выглядит противоестественным. Вероятно, его исходный тезис есть лишь небрежная фраза, тиражирующая расхожие заблуждения.

История сельского хозяйства России второй половины XVIII — первой половины XIX века знает множество примеров, когда помещики заводили у себя «улучшения» по самым современным западным образцам, интенсифицировали хозяйства, переходили на многополья и плодосмены, заводили посевы новых культур, закупали сортовые семена, импортный породистый и высокопроизводительный скот, возводили различные хозяйственные постройки, а уж сколько было ввезено новейшей техники... Успех сопутствовал прогрессивным хозяевам не часто, многие впадали в убытки и спустя несколько лет бросали свои «улучшения» или разорялись. Отчасти из-за того, что где-то не учли особенности российских природно-климатических условий, но главным образом потому, что новые технологии не вписывались в рынок. Камнем преткновения оказывался вопрос: как сделать имение с новыми технологиями рентабельным, если его продукция либо не имеет сбыта, либо цены слишком низки? Но ведь тот же вопрос в рыночной экономике, а экономика России конца XIX — начала XX века была именно такой, относится и к крестьянским хозяйствам. И в крестьянском хозяйстве улучшение агротехники может идти лишь в меру расширения ёмкости аграрного рынка. Прогресс агротехники в конечном счете увеличивает объем производимой продукции, и если этот новый объем не находит сбыта по цене, окупающей затраты на улучшение агротехники, сельхозпроизводители несут убытки, а наиболее слабая их часть — разоряется и пополняет ряды экономически избыточного населения страны. «Проблема избытка рабочих рук» в сельском хозяйстве, увы, не решается простым «улучшением агротехники».

Слабость экономической аргументации Миронова проявляется и в подходах к проблеме крестьянской бедности. Обратим внимание, какими показателями исследователь предлагает измерять уровень достатка и экономической силы крестьянского хозяйства? «Лично мне, — пишет он, — трудно считать “влачащими жалкое существование” тех, кто владел домом и хозяйственными постройками, приблизительно 14 га земли на двор из 8 человек, двумя лошадьми (или лошадью и волом), 2–3 головами крупного рогатого скота, 5–6 головами мелкого скота и птиц — таково имущество типичного хозяйства помещичьих крестьян (39% населения страны) в 1860 г., накануне отмены крепостного права, в среднем для Европейской России. После эмансипации величина надела и число скота постепенно уменьшались (вследствие прироста населения), но все равно оставалось значительным. В 1916 г. (согласно сельскохозяйственной переписи) в Европейской России в среднем на крестьянский двор из 5,3 чел. (без учета членов семьи, находившихся в армии) приходилось 9–10 га земли, 1–2 лошади, 2,3 головы крупного рогатого скота, 5 голов мелкого скота и птица. ... Даже хозяйства тех крестьян

И.А. Кузнецов

Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце?

ян, которых в советской историографии относили к бедным, имели 5 га посева и 2,8 га прочей удобной земли, лошадь, корову, мелкий рогатый скот и птицу» (Миронов, 2012а: 541–542). Надо отметить, что в советской историографии к бедным относили обычно крестьян безлошадных (в 1912 г. их насчитывалось 31,6% от общего числа дворов) или бескоровных, о существовании которых наш автор здесь не упоминает. Однако его логика ясна: уровень благосостояния и экономической силы крестьянского хозяйства Миронов, как и подавляющее большинство историков, предлагает измерять численностью натуральных элементов хозяйства.

Проблема видится в том, что для оценки состояния хозяйства, работающего в условиях рыночной экономики, и крестьянское хозяйство здесь не исключение, прежде всего имеет значение соотношение доходов и расходов. Целью сельского хозяйства (если, конечно, оно руководствуется собственными интересами, а не указаниями Госплана) не может быть обработка максимально возможной земельной площади, или содержание максимально возможного количества скота, или получение максимально высоких урожаев, надоев и привесов. Цель всякого нормального хозяйства — получение максимального чистого дохода. Не валового, а чистого, за вычетом издержек всех видов. И с этой точки зрения, в отличие от Миронова, я могу себе представить жалкое существование крестьянской семьи из 8 человек даже при наличии 14 га земли и двух лошадей. Хозяйство вообще может быть рентабельным, а может быть убыточным как при 14 га, так и при 10, так и при 100 и т. д.

Вопрос, насколько прибыльно или убыточно хозяйствовали российские крестьяне и помещики в тот или иной период, представляет для историков большую проблему. Отсутствие необходимых источников усугубляется теоретической сложностью задачи: «Вычисление чистой доходности земледельческого предприятия даже капиталистического типа является спорной и сложной задачей благодаря присутствию в балансе натуральных частей и нерыночных продуктов», — отмечал еще Л.Н. Литошенко (Литошенко, 1923: 30). Такую задачу применительно к периоду конца XIX — начала XX века историки в принципе ставили, но не Миронов и другие сторонники «новых» подходов, а, как ни странно, их оппоненты, оставшиеся на позициях марксистской политэкономии (Островский, 2013).

Характерную иллюстрацию неэкономического мышления в области аграрной истории дает следующее рассуждение Б.Н. Миронova: «Низкое потребление, или низкое благосостояние... являлось не следствием бедности как таковой, а результатом неэффективного использования имевшегося значительного имущества. Если бы крестьяне работали в полную меру своих сил, используя все рабочее время, их уровень жизни был бы, несомненно, более высоким. Однако даже в начале XX века в крестьянском хозяйстве норма напряжения труда, или, по выражению А.В. Чаянова, “степень

самоэксплуатации”, или доля рабочих дней в году, не превышала 50%» (Миронов, 2012а: 542). Поставим здесь несколько простых вопросов. Что значит работать «в полную меру своих сил»? До физического истощения? Где должны были работать те крестьяне, у которых размер хозяйства был слишком мал, чтобы задействовать весь запас их труда, а возможности промысловых заработков отсутствовали? Может быть, историк считает, что крестьяне могли увеличивать трудозатраты на единицу площади в своем хозяйстве? Но где расчеты, доказывающие, что увеличение трудозатрат окупилось бы при экономических условиях данного времени и места? Или крестьяне должны были максимизировать продукцию, работая себе в убыток? С какой стати, если они были не крепостные? И главное, почему историк считает, что крестьяне сами не могли адекватно определять «норму напряжения труда» в своем хозяйстве?

Упомянутый Мироновым А.В. Чаянов как раз придерживался мнения, что крестьяне это определять умели, и пытался построить модель крестьянского хозяйства с точки зрения оценки трудозатрат. Модель трудопотребительского баланса Чаянова предполагала, что крестьянин-работник в своем хозяйстве балансирует меру затрат своего труда с мерой удовлетворения своих (и своей семьи) потребностей. Крестьянин, согласно этой модели, трудится не до достижения максимальной выработки, то есть полного исчерпания своих сил, и не до того момента, как будут удовлетворены минимально необходимые жизненные потребности, а до того момента, когда, с его точки зрения, тягостность дальнейших трудозатрат сравнивается с субъективной оценкой полезности произведенной этими трудозатратами прибавки дохода. Из этого следует, что если крестьяне останавливают или даже сокращают трудовые усилия, значит, они не видят смысла трудиться больше. Это не значит, что потребности крестьян полностью удовлетворены, и они не нуждаются в увеличении дохода. Это значит, что они видят, что ценность потенциально возможного более высокого дохода неадекватна усилиям, которые им необходимо затрачивать на его получение.

Историк, конечно, может считать, что крестьяне ошибались, что «на самом деле» им не хватало предприимчивости, капиталистического менталитета, что они жили в плену традиций, мешавших стремиться к обогащению, или в плену мифов народнической пропаганды, или они были просто лентяи и пьяницы и т. п. Примерно так, судя по всему, считает Миронов и многие его последователи. Однако представляется более конструктивным для исследователя поставить вопрос иначе: приняв факт остановки роста трудовых усилий крестьян как результат рационального экономического выбора хозяйствующего субъекта, действующего в парадигме оптимизации трудозатрат, попытаться найти ему объективное объяснение. Возможно, за этим явлением обнаружатся некие институциональ-

ные и/или рыночные ограничения, препятствовавшие экономическому росту, увидев которые мы должны будем скорректировать картину изучаемого периода истории.

4

Итак, в современной историографии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, остается факт начавшейся в 1917 году в России революции, в которой участвовали миллионные массы городских и деревенских низов, решительно недовольных существовавшим положением дел. Социальный взрыв был настолько силен, что власть в стране в ходе Гражданской войны перешла в руки радикальных социалистов, создавших новое государство, в котором на протяжении нескольких следующих десятилетий сознательно и целенаправленно уничтожались базовые основы современной западной цивилизации: рынок, право, частная собственность, гражданское общество — как автономные от государственной власти сферы человеческих взаимоотношений. С другой стороны, новейшими трудами историков воссоздана картина впечатляющих успехов поздней Российской империи в области экономического, политического и социального развития в русле западной цивилизации, которые всячески преуменьшались прежней историографией. И в этой новой картине, кажется, нет и не может быть места для революции 1917 года, ее остается разве что выбросить из истории и забыть, сделав вид, что советское государство лишь продолжало «модернизацию», начавшуюся в царской России.

Можно ли совместить и осмыслить в рамках единой концепции эти две картины российской истории конца XIX — начала XX века: успешную модернизацию и одновременное нарастание социальных предпосылок глубокого, реакционного по своей сущности переворота? Думается, такая возможность откроется, если продолжить исследования феномена аграрного перенаселения, углубляя его экономический аспект.

В историко-аграрных исследованиях до сих пор преобладает демографический аспект проблемы: рост крестьянского населения в земледельческом центре России к концу XIX века привёл к нехватке земли для сохранения крестьянского хозяйства с традиционной технологией (и традиционным экономическим менталитетом), подразумевающей зерновую специализацию и паровую трехпольную систему земледелия. То есть аграрное перенаселение сводилось к малоземелью. Большинство учёных-современников полагали, что единственная разумная перспектива развития состояла в интенсификации хозяйства, которую они и пропагандировали среди крестьян. Большинство крестьян неохотно прислушивались к этим рекомендациям, при всяком удобном случае выступая за «черный передел», — в 1905 году неудачно для себя, в 1917 году удачно. Пы-

таясь объяснить слабые успехи учёных-агрономов у крестьянской аудитории, многие исследователи писали об особом крестьянском менталитете, специфику которого следует искать то ли в религии, то ли в теории Чаянова.

Между тем в конце XIX — начале XX века наиболее активное аграрное развитие демонстрировал не сельскохозяйственный центр, а окраинные регионы, расположенные на юг и восток от него. Именно их показатели создают ту благоприятную среднестатистическую динамику, которую сегодня выставляют на передний план историки российской модернизации как свидетельство общего роста аграрного производства страны, опережавшего рост населения. Растущее зерновое производство в черноземно-степных районах имело очевидные преимущества: целина давала более высокую урожайность при минимальных затратах на обработку (на единицу площади) и еще не требовала затрат на удобрения, свойства почвы и климата позволяли выращивать более дорогие сорта хлебов (прежде всего пшениц и ячменей) и масличных культур, близость южных регионов к черноморским портам и строящиеся железные дороги снижали издержки транспорта и удешевляли сбыт, более свободный режим землепользования и рынок земли позволяли при наличии капитала выстраивать здесь хозяйства оптимальной (с точки зрения получения прибыли) площади, где в условиях нехватки работников стала широко использоваться новейшая уборочная техника, паровые машины, то есть работал капитал, и происходила капиталоинтенсификация. Историки-марксисты недаром писали о наличии в России американского пути развития, однако неверно распространять эту модель на всю Россию.

Природно-географические и институциональные преимущества районов новой сельскохозяйственной колонизации с экономической точки зрения означали прежде всего более низкую, чем в старом сельскохозяйственном центре, себестоимость зернового производства. Этот вопрос еще подлежит исследованию, но в качестве гипотезы можно высказать следующий тезис: быстро растущий объем зернового производства в регионах с низкими издержками понижал средние цены производства и тем самым выступал одним из главных факторов, тормозивших интенсификацию в районах с высокими издержками. Интенсификация сельского хозяйства, как известно, есть увеличение затрат всех факторов производства на единицу земельной площади. В рыночной экономике она возможна лишь в той мере, в какой доход от добавочно произведенной продукции превышает добавочные затраты плюс процент на капитал. Давала ли интенсификация в хозяйстве центрально-черноземных и нечерноземных губерний необходимую прибыль? — этот вопрос представляется центральным для изучения аграрной истории пореформенной России, особенно рубежа XIX — начала XX века.

Весьма вероятный отрицательный ответ откроет новые вопросы: о достижении крестьянским хозяйством многих земледельче-

ских районов Центральной России в этот период некоего предела производительности труда, при котором дальнейшее повышение трудозатрат уже не окупалось; о нарастающей экономической бесперспективности крестьянского хозяйства как типа — мелкого, семейно-трудового и трудопотребительского — неспособного (экономически, а не технически) выйти за рамки традиционной технологии земледелия. Аграрное перенаселение будет выглядеть не только как крестьянское «малоземелье» или лень и праздность, но как превращение все большей массы крестьян в экономически лишних людей, не имеющих возможности прибыльного приложения своего труда в сельском хозяйстве при данных рыночных и институциональных условиях.

Б.Н. Миронову и другим историкам «оптимистического» направления прогресс агротехники и соответствующий рост объемов сельскохозяйственного производства, наблюдаемый по среднероссийским данным, видится однозначным индикатором роста благосостояния крестьян и всех россиян. Это упрощение, забывающее, что прогресс чреват таким явлением, как кризис относительного переизводства продукции. Прогресс сельского хозяйства в условиях аграрной страны с громадным преобладанием в ее социальной структуре сельского сельскохозяйственного населения, а в структуре производства — мелкого крестьянского хозяйства, при наличии уже достаточно развитых рыночных отношений, очевидно, должен вести к разорению слабой части сельхозпроизводителей, не выдерживающих конкуренции, и к нарастанию аграрного перенаселения с сопутствующими ему социальными проблемами.

В историческом исследовании, конечно, неправильно вести речь о России вообще и о крестьянском хозяйстве в его среднестатистическом виде. Следует ставить вопросы, в каких регионах и в каких социальных стратах сельского населения хозяйственный прогресс приводил к повышению производительности хозяйства и действительному улучшению условий жизни, а в каких — к вытеснению хозяйств из сферы рынка и к маргинализации крестьян? В какие периоды и в каких регионах проблема аграрного перенаселения сглаживалась и решалась, а в каких — нарастала и обострялась? Каковы были глубина, масштабы, скорость этих процессов?

В частности, можно предполагать, что рост производства хлебов в районах с дешевыми факторами производства и меньшими институциональными ограничениями, по-видимому, делал аналогичную продукцию крестьян старого земледельческого центра все менее и менее конкурентоспособной и в конечном счете лишней на рынке, а вместе с тем — лишними в пространстве рыночной экономики и самих этих крестьян, хозяйство которых было обречено ориентироваться лишь на самопрокормление. Более крупные частновладельческие хозяйства этих районов, имевшие потенциал интенсификации и рыночного роста, в условиях нараставшего избытка предложения труда все более лишались стимулов к технологиче-

ской модернизации и постепенно поглощались окрестными крестьянами, арендовавшими у них землю.

Консервации аграрного перенаселения до революции 1905 года содействовало и правительство, сохранявшее архаичные институты социального контроля над крестьянством и социальной мобильностью: общину, «приписку» крестьян к сельским обществам, круговую поруку, особый правовой статус надельного землевладения, выключенного из сферы земельного рынка и норм частной собственности, особые режимы землевладения в национальных, казачьих и окраинных регионах, ограничивающие переселения земледельцев, и другую сословную специфику крестьян. Сохранение институтов феодального общества, несомненно, препятствовало и структурной перестройке сельского хозяйства, и перестройке крестьянского менталитета, и необходимому выходу неконкурентоспособной части крестьян из сферы сельского хозяйства. Первая российская революция показала правительству, что эти институты плохо работают по своему прямому назначению. С этой точки зрения, столыпинская реформа видится необходимой и прогрессивной, но явно запоздалой попыткой правительства снять с российской деревни институциональные ограничители экономического роста. Как считал ее инициатор, для успеха реформы требовалось двадцать лет «покоя внутреннего и внешнего». Как известно, история имела в запасе лишь семь таких лет. Следовательно, реформа запоздала как минимум на тринадцать лет. Примечательно, что все эти тринадцать лет, которых не хватило реформам, правящие круги усердно и бессмысленно растрачивали силы на укрепление самодержавной вертикали власти, дворянства и официальной церкви, на систематическое подавление политической активности интеллигенции, начиная с гимназической скамьи, и на реализацию геополитических фантазий имперской элиты.

Революция 1917 года продемонстрировала прежде всего огромный разрушительный потенциал, накопленный в российской деревне. Миллионы солдат — крестьян, одетых в солдатские шинели, уставших от войны, стали детонатором социального взрыва, разрушившего и фронт, и тыл. Аграрная революция, по существу, стала отчаянной попыткой крестьян сделать доступ к основному фактору сельскохозяйственного производства — земле — бесплатным, а режим доступа привести в соответствие с традиционным крестьянским менталитетом, чтобы в конечном счете сохранить то самое семейно-трудовое хозяйство с традиционной технологией, производящей хлеб, которому не оставалось места на аграрном рынке. Объективно происходившее в годы войны разрушение нормально функционирующего рынка, безусловно, способствовало удаче этого предприятия.

Так действительно ли нам стоит изучать историю пореформенной модернизации России, «забыв о печальном конце, наступившем в 1917 году»? Может быть, мы лучше поймем историю, если будем помнить, чем она заканчивалась?

И.А. Кузнецов

Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце?

- Буховец О.Г. (1996). Социальные конфликты и крестьянская ментальность в России в начале XX в. М.: Мосгорархив.
- Вайнштейн А.Л. (1960). Из истории предреволюционной статистики животноводства: О численности поголовья скота и изменениях ее в годы Первой мировой войны // Очерки по истории статистики СССР. Сб. III. М.: Госстатиздат. С. 86–115.
- Киселев И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. (1990). Политические партии в России в 1905–07 гг.: численность, состав, размещение // История СССР. № 4. С. 71–87.
- Литошенко Л.Н. (1923). Эволюция и прогресс крестьянского хозяйства. М.: Русский книжник.
- Миронов Б.Н. (2012а). Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. 2-е изд. М.: Весь Мир.
- Миронов Б.Н. (2012б). По классическому сценарию: Русская революция 1917 года в условиях экономического роста и повышения уровня жизни // Экономическая политика. № 1. С. 66–77; № 2. С. 84–105.
- Миронов Б.Н. (2014). Какая дорога ведет к революции? Имущественное неравенство в России за три столетия // Социологические исследования. № 8. С. 96–104; № 11. С. 121–129.
- Миронов Б.Н. (2015). Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Миронов Б.Н. (2017а). Достижения и провалы российской экономики в годы Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Т. 62. Вып. 3. С. 463–480.
- Миронов Б.Н. (2017б). Погрузившая в смуту и укравшая победу революция // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Т. 62. Вып. 4. С. 693–716.
- Нефедов С.А. (2011). Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции. Статья вторая // Общественные науки и современность. № 3. С. 97–111.
- Островский А.В. (2013). Зерновое производство Европейской России в конце XIX — начале XX в. СПб.: Полторак.
- Сухова О.А. (2008). Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX — начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М.: РОССПЭН.

The agrarian revolution of 1917 in Russia: Is it worth studying economic history and forgetting the sad end?

Igor A. Kuznetsov, PhD (History), Senior Researcher, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: repytjd68@mail.ru

The article considers the possible further studies of the economic history of agriculture and the peasantry of the Russian regions in 1861–1914. The author analyzes the theory of Russian revolutions developed by Boris Mironov and identifies logical contradictions in his argumentation. This theory overvalues the significance of random and subjective factors and underestimates the agrarian overpopulation and economic contradictions determined by the agrarian development. The author's criticism of the "optimistic" paradigm in the economic history of post-reform Russia outlines the objectives of the study of agricultural development and its social consequences for the peasantry. The article proposes to discuss the idea that economic progress and growth of agricultural production in the Black-Earth regions of the South and South-East with their low production costs were the key factors of the crisis due to the relative overproduc-

tion of grain in Russia. Many small peasant farms in the old agricultural center could not compete in the grain market and, thus, were pushed out of it and marginalized, reinforced the natural-consumer activities and lost incentives for intensification of production. Market restrictions determined by the overproduction of grain became an important factor of agrarian overpopulation in the central regions. Institutional constraints that existed long before the Stolypin reform were aggravated by agrarian overpopulation that also created the social base for revolution. The agrarian revolution of 1917 was to strengthen the position of the family-labor economy by eliminating payment for the access to land as the main factor of production.

Key words: history of Russian revolutions, agrarian revolution, agrarian overpopulation, peasant economy, modernization, B.N. Mironov

References

- Bukhovets O.G. (1996) *Socialnye konflikty i krestjanskaja mentalnost v Rossii v nachale XX v.* [Social Conflicts and Peasant Mentality in Russia in the Early 20th Century], Moscow: Mosgorarkhiv.
- Weinstein A.L. (1960) Iz istorii predrevoljucionnoj statistiki zhivotnovodstva: O chislennosti pogolovja skota i izmenenijah ee v gody Pervoj mirovoj vojny [From the history of pre-revolutionary statistics of livestock: The number of livestock and its changes during the First World War]. *Očerki po istorii statistiki SSSR*. Sb. III. Moscow: Gosstatizdat, pp. 86–115.
- Kiselev I.N., Korelin A.P., Shelokhaev V.V. (1990) Politicheskie partii v Rossii v 1905–07 gg.: chislennost, sostav, razmeshchenie [Political parties in Russia in 1905–1907: Its number, composition, and location]. *Istorija SSSR*, no 4, pp. 71–87.
- Litoshenko L.N. (1923) *Evoljutsija i progress krestjanskogo khozjajstva* [Evolution and Progress of the Peasant Economy], Moscow: Russky knizhnik.
- Mironov B.N. (2012a) *Blagosostojanie naselenija i revoljutsii v imperskoj Rossii: XVIII — nachalo XX veka* [Population Welfare and Revolutions in Imperial Russia: 18th — Early 20th Century], Moscow: Ves Mir.
- Mironov B.N. (2012b) Po klassicheskomu stsenuariju: Russkaja revoljutsija 1917 goda v usloviyah ekonomicheskogo rosta i povyshenija urovnja zhizni [The classical scenario: The Russian revolution of 1917 under the economic growth and improving living standards]. *Ekonomicheskaja Politika*, no 1, pp. 66–77; no 2, pp. 84–105.
- Mironov B.N. (2014) Kakaja doroga vedet k revoljutsii? Imushchestvennoe neravenstvo v Rossii za tri stoletija [What road leads to revolution? Three centuries of the income inequality in Russia]. *Sociologičeskie Issledovanija*, no 8, pp. 96–104; no 11, pp. 121–129.
- Mironov B.N. (2015) *Rossijskaja imperija: ot traditsii k modernu* [Russian Empire: From Tradition to Modernity]: in 3 vols. Vol. 3, Saint Petersburg: Dmitry Bulanin.
- Mironov B.N. (2017a) Dostizhenija i provaly rossijskoj ekonomiki v gody Pervoj mirovoj vojny [Achievements and failures of the Russian economy in the First World War]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Istorija*, vol. 62, no 3, pp. 463–480.
- Mironov B.N. (2017b) Pogruzivshaja v smutu i ukraivshaja pobedu revoljutsija [The revolution that plunged the country into turmoil and stole the victory]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Istorija*, vol. 62, no 4, pp. 693–716.
- Nefedov S.A. (2011) Uroven potreblenija v Rossii nachala XX veka i prichiny russkoj revoljutsii [The level of consumption in Russia in the early 20th century and the causes of the Russian revolution]. *Obshhestvennye Nauki i Sovremennost*, no 3, pp. 97–111.
- Ostrovsky A.V. (2013) *Zernovoe proizvodstvo Evropejskoj Rossii v kontse XIX — nachale XX vv.* [Grain Production in European Russia in the Late 19th — Early 20th Century], Saint Petersburg: Poltorak.

Sukhova O.A. (2008) *Desjat mifov krestjanskogo soznaniija: Oчерki istorii socialnoj psihologii i mentaliteta russkogo krestjanstva (konets XIX — nachalo XX v.) po materialam Srednego Povolzhja* [Ten Myths of the Peasant Worldview: Essays on the History of Social Psychology and Mentality of the Russian Peasantry (Late 19th — Early 20th Century) Based on the Materials from the Middle Volga Region], Moscow: ROSSPEN.

Reassessment of the Soviet agrarian policy in the light of today's achievements

S. Merl

Stephan Merl, DSc (History), Professor, Bielefeld University; 25 Universitätsstr., 33615, Bielefeld, Germany. E-mail: smerl@uni-bielefeld.de.

Obvious successes of Putin's policy require a reassessment of the Soviet agrarian policy. The article addresses the question of whether the Bolsheviks' approach was appropriate for the Russian peasantry and considers limitations of the concept "socialist industrialized agriculture". To assess achievements of the Soviet agriculture the author uses qualitative instead of quantitative criteria: per hectare yields and milk per cow since 1913. They kept to be extremely low which is striking for the agriculture based on large-scale and partly mechanized production. The gap in yields as compared to the neighboring capitalist countries even widened from 1930 to 1991. The strong and steady growth in yields since 2000 does not allow to explain failures of the Soviet agriculture by bad soils, specific climate or natural limitations — the Soviet agrarian policy is to blame. Instead of "revolutionizing", socialist agriculture did not take part in any significant productivity rise as elsewhere in the world during the "green revolution". The author argues that the main reason for such a failure was "infantilization" of agricultural producers — peasants, heads of state and collective farms — by a combination of mistrust and scrupulous control. During the Soviet period agricultural producers never were the masters of their fields. The situation became even worse after the planned economy provided agriculture with insufficient and ineffective machinery below Western standards. Although necessary machinery and knowledge of organizing the production were available in the West, in the Soviet Union the mechanization of crop production and animal husbandry was not completed. The article starts with the description of peasants' interests, behavior and expectations in the Revolutions of 1905 and 1917–1918; then the author focuses on the foundations of the Soviet agrarian policy suggested by Lenin and Stalin, continues with a short review of different approaches to agriculture developed by Khrushchev, Brezhnev und Gorbachev, and finishes with a summary of the reasons for Putin's successes paying special attention to the short periods of yields growth — 1924–1930, 1953–1958, 1965–1970, and 1986–1991.

Key words: socialist agriculture, agrarian policy, industrialized agriculture, infantilization of peasants, class differentiation, V.I. Lenin, J.V. Stalin, N.S. Khrushchev, L.I. Brezhnev, M.S. Gorbachev, V.V. Putin

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-45-69

Introduction

After the October Revolution, the Bolsheviks seized power in the peasant country. The overwhelming majority of the Russian population (about 85 percent) lived in the countryside consisting of peasant

land communes engaged mainly in agriculture. The Bolsheviks were not ready to unite with peasants, they relied on the world proletariat and urban workers and expected that the West-European working class and not the backward Russian peasants would join the proletarian revolution. Unlike the Social Revolutionaries (SR), they did not communicate with rural population and their ideas of socialist agriculture reflected the Marxist theory. They expected to get revolutionary agricultural productive forces just by transition to socialist agriculture consisting of large-scale enterprises. Economic planning instead of “anarchy of the market” was their key idea: they believed that its rapid introduction would lead to the substantial rise in yields (Merl, 1993: 15-78).

Until 1917 the Bolsheviks never questioned whether their concept of socialized agriculture fit the social-economic situation of the Russian peasantry and was acceptable for them. While in Western Europe industrialization was already developing and peasants fled from the countryside to find jobs in urban areas, the situation in Russia was totally different. Even after the industrialization began in the mid-1880s, the demand for labor in the cities was not sufficient for quickly growing rural population. The Bolsheviks faced rural underemployment (hidden unemployment in the countryside), and any project of industrialized socialist agriculture setting free more labor would only aggravate the problems.

In the summer of 1917, Lenin realized that to take power he had to offer something to peasants. To win their support, he used “peasant electoral mandates” collected by the SRs in mid-1917 and claiming redistribution of the estates’ land, which contradicted the previous Bolshevik program of making the estates as large-scale enterprises a new form of state property. Thus, the “Decree on Land” published a few days after the October Revolution legalized the already ongoing peasants’ confiscation and redistribution of the nobles’ land. Tactically Lenin’s plan succeeded: the land decree won peasants’ support for the “reds”. When the civil war broke out in 1918, it went without saying that the majority of peasants fought against the “whites” who wanted to return the illegally expropriated land to the noble land owners (Merl, 2017a).

In assessing political failures and successes of the Soviet agricultural policy, I will consider the Bolshevik socialist industrialized agriculture approach’s suitability for the Russian peasantry — to win their trust and involve them in socialist reconstruction.

Preconditions

Russian agriculture since the 18th century showed a strong path dependency. There was always a combination of small and large-scale agriculture. After Alexander II emancipation decree both (serf) peas-

ants and large-scale noble estate owners had about half of the arable land. Later and despite peasants' complaints, the distribution of land changed in peasants' favor. In 1900, only 20 percent of land still belonged to estate owners. If we take into account land leasing, peasants cultivated about 90 percent of arable land.

Peasant communes distributed land by the number of males in the household. Due to the population growth (about 2 percent annually), the medium size of land per person was quickly shrinking though every rural household had access to land. The worsening land/man ratio under the prior grain production put pressure on rural households and made peasants demand more land in the Revolutions of 1905 and 1917. They required redistribution of the estate owners' land. From the economic point of view, this was meaningless: the problem was not in the size but in the use of land. Without intensification of agricultural production after the redistribution of land under the demographic pressure the same land/man ratio would return in just few years! To solve peasants' problems and to raise their incomes, the extensive use of land had to be changed by an agricultural reform rather than a revolution.

Agricultural development always strongly depended on external pressure. Urban workers have a higher demand for meat and milk products than rural people, and only industrialization could overcome the hidden rural underemployment by a new productive use of available labor outside agriculture. Although migration from rural areas and agricultural production started in the 1890s, it was not yet strong enough for the intensification of land use by rural households. Only growing consumption of meat products in the cities and growing demand for industrial crops could stimulate the necessary development of the Russian market (Merl, 2017a).

Under the early 19th century emancipation elsewhere in Europe, the use of land started to improve: redistribution of communal land, transition to better crop rotations, improved seeds, etc. This was the aim of the 1906 Stolypin reform falsely accused of defending only the property rights of strong peasants. Under this reform, state credit became available for rural credit cooperatives, and secondary and higher educational institutions introduced agricultural courses.

The Bolsheviks' idea of the large-scale mechanized agriculture contradicted not only peasants' expectations but also economic needs of the country suffering from heavy rural overpopulation. The Bolshevik idea of the peasant class differentiation was even more strange for peasants as based on the questionable Marx idea of transition of peasant economy to small commodity production reproducing capitalism. Therefore, Bolsheviks thought they had to confront individual peasants as "petty capitalists" (Krebs, 1983). They considered individual peasants as potential counter-revolutionaries and identified only a strange stratum of "poor peasants" as class allies. We have to question this approach for even many seemingly successful farms in Rus-

sia were pretty small compared to the European ones. The majority of rural households were small or medium-sized with an income significantly lower than of urban workers (Merl, 1990b).

Traditionally Russian peasants supported the “myth of the tsar”: they wanted to trust the monarch but demanded justice in return. The peasants’ idea of justice denied the nobles’ right to use the “god’s acre”. They wanted a just monarch to confiscate the nobles’ land and redistributed it among peasants. The Bolsheviks’ idea that the peasant revolts were against exploitation by noble landowners and that peasants were a part of the class war under the social differentiation was totally wrong. Lenin mistook the peasant revolt for justice for social revolution. Like the intelligentsia, he did not see the real demands of peasants: they used violence only to protect their view of justice. Revolts against noble landowners were the dominant form of Russian peasant’s protest until 1917. They were legacy of serfdom and noble exemption from obligatory service to the tsar in 1762, and were based on moral rather than economic or social demands (Merl, 2017a). In economic terms, the noble land use significantly decreased already in 1900, redistribution of this land could not solve peasant problems.

After the 1861 emancipation, peasants expected to get all land but got only personal freedom. Moreover, the tsar made them buy land from noble landowners and bargain about conditions of the deal. Thus, the tsar gave peasants something new in addition to the feeling of justice: for the first time in history he addressed them in the decree as citizens with equal rights and acknowledged them as equal partners to noble landowners. Although peasants were greatly dissatisfied, this unexpected concession put them into a kind of a shock paralysis. To get their justice, they used the right to resist as they understood it by accepting the rule of the tsar.

To understand peasant activities, one should remember that they sought legitimization for every revolt, which could be granted only by the peasant commune assembly, i.e. peasant decisions were justified by the collective vote — both local affairs and protests against local estate owners. Only if neighboring communes had the same voting uprisings could spread regionally. The violence started right after the vote, so it lacked any intensive preparation. The pure local character limited the scope of the Russian peasant protest: even in the 1917 Revolution, the conflict was local — between the noble landowner and the peasant commune — although throughout the country (but neighboring communes could keep peaceful relations with their landowners). If the state violated justice, which affected all peasant communes at the same time, the uprising could spread all over the country and even threaten the rule. Such protests started only under the Bolshevik rule: first, as a “peasant war” against the Bolsheviks taking grain by force in 1918–1921, and then in *babie bunt*y in 1930 against the confiscation of cows during forced collectivization (Schedewie, 2006a; Merl, 2017a).

The basic misunderstanding between the Bolsheviks and the peasantry can be illustrated by the question: who had to thank whom for redistribution of landholdings? Lenin believed that peasants had to thank the Bolsheviks for land redistribution and providing them with the nobles' land, while peasants perceived the situation differently: they took land by their own and only the land that belonged to them by the law. The Bolsheviks believed that they gave "more land" as a huge gift to "poor" peasants, while peasants did not gain much. The land was redistributed within land communes according to the number of male household members. Poor peasants might have got a little bit more land but their dependency on farm implements became stronger, and there was no redistribution of farm implements (machinery, working cattle). Thus, land redistribution only nominally made rural households "equal" (Merl, 2017a).

From 1861 to 1903, open revolts were rare. Under the agricultural modernization, at the turn of the century, many estate owners enhanced the use of landholdings, which led to conflicts over peasants' illegal use of meadows and forests of noble landowners. The estate owners planted new cultures (for example, sugar beet) and increasingly used agricultural machinery, which hurt peasant interests: agricultural machinery reduced the landowners request for seasonal labor and the size of land leased to peasants. As a result, the growing land rent and decrease in salaries led to violent protests (Schedewie, 2006b).

Peasants interpreted the 1905 October Tsar Manifest as allowing them to take the nobles' land by force although the manifest did not mention peasants at all. However, landowners tried to hide the existence of the manifest, the rumors spread, and peasants became sure that the nobles tried to cheat them by hiding the just tsar's will that would finally eliminate the nobles' land property (Ascher, 1988). Unlike peasant unrest in the Baltic states or Caucasus, the Russian peasant uprisings in 1905 had local character and were against local landowners rather than monarchy. But the outcomes changed the peasants' attitude to the tsar Nicolas II significantly. The bloody suppression of rebellions made him look a false tsar and determined the politicization of peasants.

The peasant perception of the 1917 February Revolution was very positive. When the Provisional Government finally put the peasant question on the political agenda, peasants already wanted to see a new ruler. The only thing he could do was to declare that all land belonged to peasants, and they considered the land question on the agenda as legitimating their violent attacks on the nobles' estates.

Thus, the peasant revolution started independently from the Bolshevik revolution already in mid-1917 and followed its own agenda. Peasants confiscated the nobles' land and often burnt down their manor houses. They wanted to make sure that the nobles never return. By the beginning of the October Revolution, peasant activities had

already significantly changed the local situation. By confiscating the nobles' land and overthrowing local administration and police, peasants destroyed the basis of the tsarist rule in the countryside. Peasants were taking power and establishing a new local order based on village soviets (Channon, 1988; Figes, 1989). Lenin's Land Decree legitimized peasant actions, but peasants expected the Bolsheviks to accept them as equal partners and provide with equal rights as workers such as creating peasant unions (they already existed in 1905). Despite the Land Decree, the confiscations of land continued without the Bolsheviks who only in the spring of 1918 got control over the countryside. Meanwhile peasants confiscated the nobles' land in neighboring regions too and often started land distribution within peasant communes, i.e. their local rule did not confront the Bolshevik rule.

The tsarist regime failed to ensure the food supply of the army and cities, and so did the Provisional Government. The Bolsheviks' decision to introduce *prodrazverstka* instead of the tax in kind worsened their relations with peasants for it was more arbitrary. The class approach led the Bolsheviks to conflicts with middle and well-to-do peasants. Instead of making a strong union with peasants against the "whites", the Bolsheviks put peasants under strong pressure and martial law. Already in 1918, control and mistrust were basic features of the Bolsheviks' approach to the peasantry. While peasants wanted to speak with the new rulers, Lenin decided not to have negotiations with them and chose a military solution (Danilov, Shanin, 2002).

The situation changed after the victory over the "whites" — peasants started to revolt against taking their grain by force. Disappointment and brutal grain requisition made peasants start a war against the Bolsheviks who had lost the image of just rulers. Thus, the war of 1918–1922 was the Bolsheviks' war against the peasantry. Peasants fought against brutal confiscation of their grain but not against the Bolshevik power as such. Unlike previous peasant uprisings, from 1918 the brutal violence of both sides was primarily directed against persons. The Bolsheviks used *prodrazverstka* to punish peasants who for some time were under the rule of the "whites". After they won the territory again they demanded the double amount of grain from peasants suspecting them hiding a lot of grain. The amount of grain taken by force in the Volga and Siberia Regions was too high (Danilov, Shanin, 2002; Merl, 2017a). Severe military fights between rebellious peasants and the Red Army reached its peak in 1920.

The events of 1917–1922 changed the Bolshevik-peasant relations to the worse. The Bolsheviks denied peasants' contribution to the success of the October Revolution and denied them equal civil rights. Lenin's *kombedy* (committees of poor peasants) aiming at grain requisition failed, and the majority of peasants considered them an affront. Peasant uprisings of 1917–1918 against the estate owners based on the collective vote of local assemblies strengthened peasant solidarity while Lenin tried to split them into "classes".

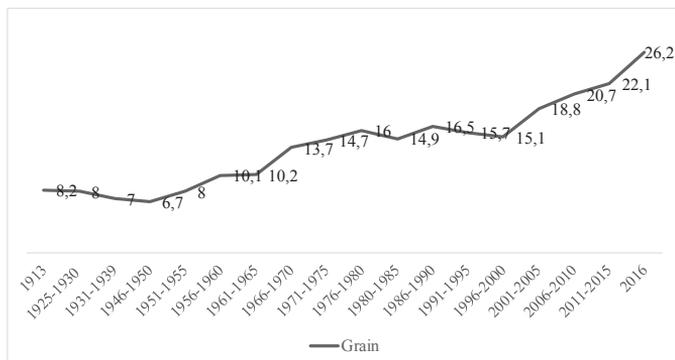
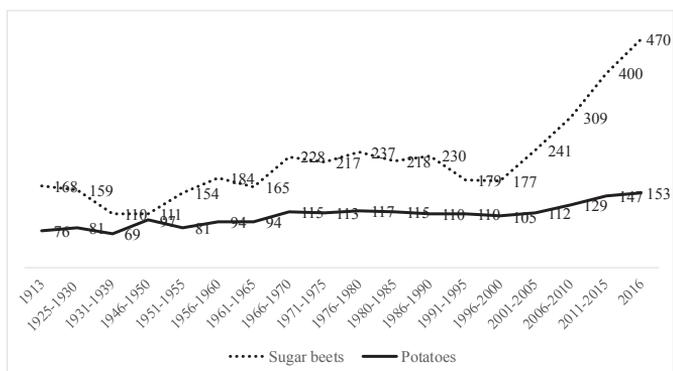
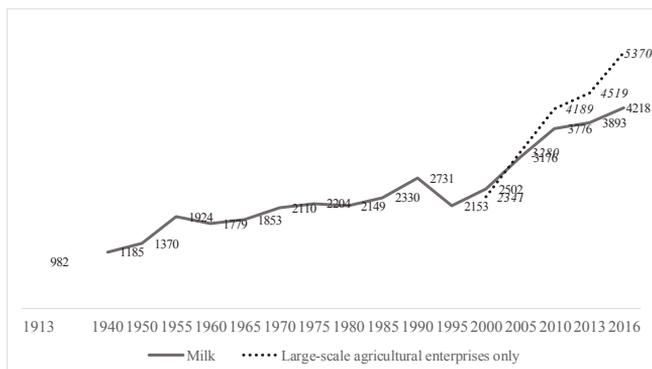
To assess the Soviet agriculture, we should consider qualitative rather than quantitative criteria. Graphs 1-3 show the development of per hectare and per cow yields over the given period on the contemporary territory¹.

The graphs prove that yields in the Soviet period were extremely low and until the end of Stalin's rule were equal to other parts of Europe at the beginning of the 18th century, i.e. to the pre-industrial agriculture. This is even more striking for the Soviet agricultural production under Stalin in the 1930s became large-scale and partly mechanized. Despite small increases in the mid-1950s and in the second half of the 1960s, yields lagged behind neighboring European countries. A strong upward trend in yields appears only in 2000, which proves that Soviet failures cannot be explained by bad soils, climate or natural limitations: the Soviet agricultural policy is to blame.

The main reason for such failures was "infantilization" of agricultural producers by a combination of mistrust even to large-scale agricultural enterprises with a scrupulous state control, which led to the state command over every step of production and distribution until the end of *perestroika*. Agricultural producers were never masters of their fields. They were often forced to execute crazy state orders destroying crop rotation. The poor supply of agricultural machinery of miserable quality, permanent lack of spare parts and neglect of agricultural technology decreased agricultural productivity and deprived peasants of the interest to decent work. Agricultural and industrial production of the command economy had significant differences: from the director of an industrial enterprise Stalin would demand only to complete the production plan; after re-establishing of the one-leader principle in 1931, he would not interfere in the director's production arrangements; thus, industrial directors became masters of their enterprises with some specific rights such as the use of corruptive practices (Merl, 2010; Merl, 2017b).

To make my conception clear, I will focus on the short periods of high yields such as the 1920s under Lenin's political turn to the "middle peasant": yields stabilized after the disasters of "war communism" and the famine of 1921–1922 although there was no large-scale produc-

-
1. The graphs are based on the date before 1980–1985 for the Soviet Union, from 1986 onwards — for Russia. From 1970 to 1985 data are available for both the Soviet Union and Russia. Concerning milk yields, the data are nearly equal. Potato yields were slightly higher in the Soviet Union (up to 10 percent), grain yields were up to 20 percent higher. Only for sugar beet the difference was quite significant: about 220–230 dt/hectare in the Soviet Union and 160 in Russia. However, this means that the increase in yields in Russia was even more impressive than the graphs suggest.

Graph 1: **Per hectare grain yields (in 100 kg)**Graph 2: **Per hectare yields of sugar beets and of potatoes (in 100 kg)**Graph 3: **Annual milk yields per cow (in kg)**

Sources: Merl, 1990a: 40; Selskoe khoziaistvo, 1988: 13-17; Rossiisky statistichesky ezhegodnik, 2007: 448-462; 2014: Tables 15.17 and 15.35; 2017: Tables 16.18 and 16.29.

tion after the liquidation of estates. From the early 1930s to Stalin's death there was a period of dramatic failure: the forced turn to large-scale agriculture by collectivization made yields fall lower than the peasant agriculture in the 1920s. After Stalin's death under Khrushchev's rule, an increase in yields quickly turned into new stagnation on a higher level. Under Brezhnev's rule the state capital investments in agriculture became significant. At first the yields increased, but then the growth stopped. Liberalization under Gorbachev's rule determined a short-term upward trend. The decline in urban demand for meat and milk products led to the decline of agricultural production from 1992. After privatization in agriculture, Putin's new approach to agrarian policy became effective from the 2000s. It is based on large state subsidies and food security doctrine. Now enterprises decide by themselves on inputs including the choice of machinery, seeds and knowledge, which led to a gradual and sustainable increase in yields (Wegren, Nikulin, Trotsuk, 2018).

I will start with the New Economic Policy in the 1920s, try to answer the question why yields under Stalin's rule were so low, describe the agricultural policy based on mistrust and scrupulous control, then consider changes in agricultural policy after Stalin's death under Khrushchev, Brezhnev, and Gorbachev's rules. Finally, I will explain the fast growth of yields under Putin's rule.

New Economic Policy (1921–1928)

Economic disasters of the war communism and the loss of hope that West European workers would join the Bolshevik revolution made Lenin change his approach to the peasantry. He understood that peasants had to be integrated into the Soviet state, which was the final acceptance of class relations in backward Soviet Russia: though the Bolsheviks successfully suppressed peasant rebellions in 1920–1922, they had no alternative than to integrate them in the new social order. It took Lenin a long time to accept the middle peasants as partners. This started with the replacement of *prodrazverstka* by a tax in kind on grain in the early 1921, thus, peasants returned the legal right to sell their surplus products in the market, which was the start of the New Economic Policy and acceptance of all social groups in the construction of socialism.

Instead of class differentiation, rural households in the 1920s differed by their ability to work on their land alone, dependence on others, and economic orientation. Those able to work with their own implements and cattle can be called middle peasants. Their share in the non-black-earth area was about two thirds, in the black-earth area — about one third of households. Other rural households either had to lease part or all implements from other peasants or (usually in the black-earth steppes) were working in pairs for four horses were

needed for the heavy plough. Less than one percent of households can be called *kulaks* for the redistribution of land during the peasant revolution of 1917–1918 contributed to the equal division of land per person. There hardly were landless rural households and agricultural workers for the village commune distributed arable land among all families.

Another important criterion of differentiation was the main source of income. For many households, agricultural income played only an additional role. About 10 percent of rural households can be called *kulturniki* for getting their main income in agriculture — these were middle peasants answering the 1924 Bolsheviks' call and accepting the state offers to improve their land and technique. Thus, about a half of households waited for the opportunity to find better paid work in urban and industrial areas. They did not have a full-time job outside agriculture, and it was rational to work as part-time farmers leasing implements from other peasants (Merl, 1990b).

Lenin and other Bolshevik leaders did not want to give peasants the same rights with workers: they preferred to infantilize peasants (like women) as unable to make their own decisions. Workers were to guide peasants to the right way (similar to godparenthood). The Bolsheviks were afraid that otherwise peasants would succumb to wrong influence. The godparenthood-workers had to teach them to cultivate land and develop the right class consciousness. The denial of equal rights and refusal to recognize peasants' contribution to the revolution became evident in 1927: the October Manifesto for the 10th anniversary of the Revolution gave privileges to all its participants except for middle peasants, which caused their harsh reaction and bitter disappointment (Merl, 2017a).

Ideologically Lenin's revision of his perception of peasants was determined by his interpretation of rural cooperation. He believed that cooperatives could never break the existing political order and argued that under the dictatorship of proletariat cooperatives could not endanger the Soviet rule. To avoid the risk of restoring capitalism peasants were to be organized in rural cooperatives. The new agrarian program was developed and implemented in 1924 under the slogan "*litsom k derevne*" (turn to the village). It focused on overcoming rural underemployment. Industrialization was to take place and not be labor intensive, so only a few peasants would have the chance to leave for industry. New jobs had to be created in agriculture and rural crafts, and hired labor and land leasing were allowed if registered.

The New Economic Policy quickly won the trust of peasants. The mid-1920s show a rise in agricultural productivity although there was no large-scale production. Not only industrial production but also small peasant farms achieved the pre-1913 per hectare yields. But the controversy among the Bolshevik leaders remained. They were more concerned with their conflicts than with developing a healthy basis for food production. Already in 1926, the idea of "*litsom k derevne*" was attacked. Stalin's forced grain procurement campaign of 1927–

1928 made peasants lose the trust in the Soviet power again (Merl, 1993). In 1929, Stalin returned to the war communism agricultural policy using brutal force against peasants during collectivization. He not only denied the peasants of equal rights but in 1932 by the passport legislation turned them into forced workers with the only privilege to work in their home village.

Lenin tried to create a planned economy in agriculture on the basis of scientific research. Planning allowed to collect a huge amount of relevant empirical data. Scientists proposed measures for state intervention by economic incentives for peasants to improve agriculture. The chance for a quick increase in per hectare yields and sustainable improvement of the productivity of Soviet agriculture were quite high in the late 1920s. Russian experts played a leading role in the international agrarian research. Economic planning promised to transfer new agricultural knowledge into production, thus, facilitating a substantial rise in per hectare yields and husbandry production. Experts were sure to overcome the defects of peasant economy. To raise its productivity, they proposed land consolidation, progressive crop rotation, and selected seeds. Financial state support for this was available until 1928. Experts expected a significant growth in yields, and it started in the second half of the 1920s. They wanted the first five-year-plan to introduce an obligatory “agronomical minimum”. The state had to provide subsidies to allow the poorest peasants to satisfy their needs. Stalin described this minimum as obligatory but at the same time stopped all financial support so that peasants made a “tribute” to industrialization (Merl, 2016; Merl, 1985a).

Experts' publications in the 1920s reveal economic perspectives of peasant economy. For example, they have data on the hidden unemployment. In the mid-1920s about 10 million employable people in the countryside were not needed for agricultural and craft production. This was a huge number — the total employment outside agriculture was only 10 million (Merl, 1993: 270-276). These data prove that it was not possible to solve the problem quickly. Stalin's collectivization in 1930 dramatically reduced the possible labor input in agriculture due to larger farms and mechanization. Moreover, with the loss of a half of livestock the possible labor input in this labor-intensive branch was strongly reduced. And peasants even lost their previous opportunities for side incomes from rural crafts for the state now took all raw materials for industry.

At the end of the 1920s, the planners did not see prerequisites to move to the large-scale industrialized agriculture. The First Five-Year Plan in its “optimal version” adopted in April 1929 suggested that small farms would remain dominant for a longer time to deliver agricultural products for workers. Only after opening Soviet tractor enterprises, the general transition to large-scale enterprises in agriculture had to be completed in the mid-1930s (Merl, 1985b). The planners made important proposals for future agricul-

ture. According to the Bolsheviks' aim to establish large-scale industrialized agriculture, they suggested in 1929 to start with integrating agricultural and industrial production and "agro-cities". Such combinations were designed for the area of about 20,000 hectares (Davies, 1974; Merl, 1985a). Huge state investments were required for such projects combining production and processing but were not provided.

Forced collectivization

With the "self-taxation" campaign in the early 1928 Stalin put previously autonomous peasant assemblies under the state control threatening everybody voting against state interests with arrests and repressions (Merl, 2012). He made peasant assemblies vote for self-taxation (and a year later for "voluntary" collective farms). Stalin destroyed the basis for legitimizing peasant rebellions. Their symbol — the church bell calling peasants to assemblies — was confiscated and melted for industrial needs. Stalin's mistrust to individual peasants soon was transferred to collective farms: he perceived *kolkhozes* as enemies, put them under strong state control and denied them the right to organize production. The principle of "one-man leadership" guaranteed in 1931 for industry was not applied in agriculture. *Kolkhoz* heads and directors of state farms never became masters of their fields. The party always interfered in agricultural production to control every activity.

Kolkhozes were only allowed to possess implements for small-scale farming. From 1930, tractors and combine harvesters were supplied only to state farms or machine-tractor stations (MTS), i.e. were state property. MTS serving several *kolkhozes* were primarily designed to secure state control over *kolkhoz* production. Together with political departments established in 1933 they were a means to discipline *kolkhozniki* rather than a way to modernize agriculture. From the mid-1930s, grain was expropriated directly from the fields leaving *kolkhoz* storage barns empty (Merl, 2016; Miller, 1970). For the most part, both MTS directors and *kolkhoz* heads lacked elementary knowledge of agricultural production for they had to execute party orders by intimidating their workforce.

From 1929, in a paternalizing manner the Soviet state made all decisions for agricultural producers not giving them an opportunity to decide for themselves on improving cultivation technology. *Kolkhozes* did not get any independence as enterprises or any degree of responsibility. They became totally dependent on the farming technology of MTS and lost control over schedule and quality of work on their fields. A rapid increase in yields would have needed autonomous agricultural enterprises that under local conditions could decide for themselves on the optimal use of improved agricul-

tural technology and crop rotation. Moreover, in 1929, the decisive bond between wages and quality of work was lost. State agents often punished for a good-quality work by repeatedly imposing additional burdens on successful *kolkhozes*. Thus, the incentive system generally rewarded poor work (Merl, 2016). Only after Stalin's death, in the 1960s, the project of industrialized agriculture gained new life (Merl, 1988).

The party leadership was initially convinced that tractors and large-scale farming would guarantee progress in agricultural technology. They consciously accepted the concomitant destruction of peasant means of production for it was to be "compensated hundred times by the huge advantages of the new forces of production" (Merl, 1985b: 184-211). In November 1929, Molotov explained that finances were to be got by the expropriation during collectivization (Merl, 1985a: 391-397). However, he did not explain how investments would be made when peasant implements lost their market value. Land consolidation would become a prerequisite for improved work on fields by the use of tractors. Collectivization in the winter of 1929-1930 used mass violence against peasants for it no longer aimed at creating well-structured large-scale agrarian enterprises but rather "struggled for grain" and sought to subjugate peasants who supposedly were sabotaging the socialist development. The "dwarf *kolkhozes*" created in the early 1930s usually united a small number of peasant farms. With about 400 hectares they had only one tenth of the minimal land area planned for large-scale enterprises (Davies, 1979; Merl, 1985a: 331-400; Merl, 1990a: 61-128, 199-221).

Agrarian experts such as Moisei Volf, one of the designers of the first Five-Year Plan for agriculture, expressed concerns about hasty collectivization and fears about dramatic consequences of rural overpopulation (Merl, 1993: 487-493; Pravda 1928). The forced collectivization in the winter of 1929/1930 was implemented without any organizational plan. The party leaders did not express their ideas on elementary questions such as how the *kolkhoz* should function. Only in March 1930, the Artel Statutes were published (Merl, 1990a: 199-256). The abrupt replacement of small farms by *kolkhozes* and state farms cancelled all previous achievements in land distribution and consolidation, i.e. determined the loss of control over land. It was necessary to start from the beginning, and that could be done only after new enterprises had been stabilized. Under the forced collectivization the decisive prerequisite for productive crop rotation was lost for a long period. The growth of per hectare yields depended on available tractive power, so the loss of a half of working horses during collectivization worsened the situation: agricultural productivity decreased and poorly cultivated croplands were covered by weed. Until the late 1930s, the supply of tractors did not compensate for the loss in horse power. Only in the 1950s, the level of tractive power of 1928 was achieved again (Miller, 1974; Merl, 2016).

Nominally Stalin tried to continue new crop rotations and land consolidation. However, all campaigns failed for the crop rotation would have contradicted the ordered sowing for grain. Progressive crop rotations were to reduce grain fields but would have significantly increased per hectare grain yields (Merl, 2016). Providing grain for the state was an unconditional priority. The law “On the Protection of Socialist Property” drafted by Stalin in August 1932 extended the state demand for grain already at the stage of ripening. In the summer and autumn of 1932, some starving *kolkhozniki* were shot by this law because they had stolen ears from fields. Local authorities quickly understood that they were to deliver grain to the state under all circumstances. Therefore, they had no interest in introducing crop rotations, the only thing that mattered to them was a short-term success.

After the failure of his initial assault on peasants, Stalin had to make a similar concession in 1932 as Lenin did in 1921: under the famine of 1932–1933 he ended the arbitrary agricultural policy and returned to a tax in kind on grain, milk, meat and potatoes. The war communism approach to peasants failed for the second time leading to a terrible famine with more than 6 million victims. Stalin reacted to the famine caused by the brutal expropriation of agricultural products by fundamental changes in the agrarian policy, which proves that he considered the situation as very dangerous (Merl, 1990a: 128–140). In order not to jeopardize his rule he could not admit publicly that the forced industrialization and collectivization had caused a famine with millions victims. The established *kolkhoz* system was to put an end to the arbitrariness that agricultural producers experienced. This was a compromise between the interests of the state and peasantry. The return to the tax in kind as an obligatory delivery of agricultural products per hectare or cattle to the state ensured the state a very high proportion of agricultural products without paying all costs of production. By giving rights to private plots and “prepaying natural goods” during labor days (*trudodni*) the state finally gave *kolkhozniki* the chance to survive (Merl, 1990a: 129–140, 260–280, 360–371, 453–476).

The *kolkhoz* system existed from 1933 to the forced enlargement of *kolkhozes* in 1949–1953. It put an end to experiments with the industrialized agricultural production for two decades. By separating private plots from *kolkhozes* it preserved primitive forms of production. Under Stalin the *kolkhoz* economy remained limited to a small number of crops. Potatoes, fruits, vegetables, meat and milk products were mainly produced in the households. Cattle breeding in *kolkhozes* would have required large investments primarily in stables. The state prices did not cover production costs, and any increase in production or establishing new branches had to augment the losses of *kolkhozes* (and the unpaid “bonded labor” of *kolkhozniki*) (Merl, 1990a, 327–417).

The combination of state-controlled forced large-scale labor and small private plots within *kolkhozes* is a feature of Stalin’s construction determined by peasant women’s rebellion (*babie bunty*) in the

early 1930s against confiscation of the last family cow under the forced collectivization. These local uprisings soon spread over the whole country and threatened Stalin's rule. He addressed peasant women and allowed peasants in *kolkhozes* to have a small private plot, one cow and some productive animals. This combination became a part of Stalin's model of socialist agriculture: while transferring collective farms to Eastern Europe, Stalin prescribed private plots for them too. For the agricultural modernization this was a counterproductive combination for it preserved primitive manual labor in the households. However, from 1933 it ensured peasants a chance to survive. Only in Hungary in the 1970s, this combination became a part of the successful model for collective farms supported private-plot production and helped to market its products at attractive prices.

In the late 1920s, yields in crop production and animal husbandry in the Soviet Union were still very low compared to European countries. In the 1930s, instead of growing they even decreased, which proves the failure of Stalin's large-scale agricultural enterprises. In grain and potatoes production, per hectare yields were on average 15% below those of small-scale farms; in sugar beet and cotton production, per hectare yields in the first half of the 1930s fell even further. From 1935 they grew rapidly but did not reach the pre-1914 level. The growth of sugar beet and cotton yields were determined by a drastic increase in producer prices which covered production costs. For sugar beet production small groups were organized: they were responsible for all working operations. From 1935 cotton *kolkhozes* members received cash payments large enough to cover their food needs by market purchases. On the contrary, in potato and grain production state prices for their mandatory delivery covered only about 20% of production costs (Merl, 2016: 40, 371-390).

After the good harvest of 1937, for the first time after collectivization several *kolkhoz* members received sufficient grain for their needs for "labor days". Their reaction shocked the party leadership: many of them wanted to use this chance to escape from the forced institutional framework of *kolkhoz* and state "bonded labor", to return to individual farming and to determine one's own destiny — this required to own a horse, which was banned for *kolkhozniki*. The horse allowed the former *kolkhoz* member to become an independent small-scale entrepreneur for even rural state enterprises needed transport services. Families with many children also wanted to leave the *kolkhoz* due to the inability to feed their children. In 1938, the party leadership expressed concerns with these reports and accused local authorities of low payments (Merl, 1990a: 234-242, 247-256, 386-391). Stalin was upset that *kolkhozniki* were able to escape from the seemingly total state control by renouncing their *kolkhoz* membership. He called for slowing down the rush back to private farming and recommended to put pressure on *kolkhozniki*—"idlers" with few or no "labor days" (Tragediia sovetskoi derevni, 2006: 416-424). A campaign against "ex-

its” from the *kolkhoz* was launched and the horse tax was raised so much that no individual peasant could have a horse any more (Merl, 1990a: 247-256, 386-391). In May 1939, the struggle against the “illegal extension of private plots” started (Tragediia sovetskoi derevni, 2006: 427).

The minimum number of labor-days was a blunder: the real problem was to provide *kolkhoz* members with paid work. Thus, forcing them to “work” the minimum number of labor-days meant forcing them to work without payment. This is why *kolkhozniki* worked so badly. Moreover, insufficient payment and seasonal labor made many of them seek paid work outside the *kolkhoz* or to focus on their private plot (Tragediia sovetskoi derevni, 2006: 90-97). As nominal “co-owners” of their *kolkhoz* they received only “labor days”, i.e. worthless dashes on paper marking their share in “income distribution” at the end of the year, while in the neighboring *kolkhoz* they were paid in cash for the same work. Many non-cotton *kolkhozes* suffered heavy losses and did not have anything to distribute among their members at the end of the year. Rural dwellers income consisted of sales of their own products (not withdrawn as a tax in kind by the state) in the open market. A day of work on one’s plot resulted in a significantly higher income than a “labor day” in the *kolkhoz* (Merl, 1990a: 371-417). The *kolkhoz* was basically a state enterprise, and *kolkhozniki* had to follow “recommendations” of the state if they wanted to avoid arrests. The state dictated not only every step of production but also distribution of the *kolkhoz* production. Collective farms served only the state interest not to pay monthly wages to *kolkhozniki*: as fictitious “co-owners” they were to distribute a never existing “profit” at the end of the agricultural year.

Post-Stalin period

Already in the last years of Stalin’s rule many Soviet leaders recognized the need to change the approach to agricultural workforce, i.e. that it must be paid and get incentives for good work. However, only after Stalin’s death in 1953 medium prices for agricultural producers tripled and the attack on private plots was stopped. Nevertheless, the paternalizing control of agriculture was not questioned by Khrushchev or Brezhnev. Although by the mid-1960s qualification of *kolkhoz* heads and directors of state farms significantly improved and most of them got higher agricultural education, they were not allowed to become masters of their fields. The bureaucratic agricultural apparatus never stopped to provide them with detailed instructions, and they had to participate in all state agricultural campaigns of sewing, harvesting and sheltering cattle for the winter. Taking into account the miserable living conditions in the Soviet countryside in 1953, rejection of collective farms and returning to private farming (as later in Chi-

na) would have contributed to a significant increase in yields. However, Hungary in the 1970s proved that large-scale agricultural cooperatives could be successful if they were allowed to control the whole production including selecting inputs, marketing, etc. Other limitations of the Soviet agro-industrial sector that are not considered in this article also did not change after Stalin's death — investments in storage, processing, and trade were ignored by the planned economy until the very end of the Soviet period, which was one of the reasons why food produced in the West prevailed at Russian urban markets for a decade after 1992.

Agricultural development under Khrushchev can be divided into two periods: successes and increasing yields until 1958, and stagnation and even decrease in per hectare and per animal yields in the following years. The first "successes" were not determined only by the virgin land program for the growth of agricultural production was also due to the liberalization of agrarian policy and to the rise of producer prices to the level of covering basic costs of production and allowing small money payments to *kolkhozniki*. As a result, they intensified production to provide urban population with products at *kolkhoz* markets. Until 1958 there was a hope that individual farming would be allowed again. As was situation with Stalin at the turn of the 1930s, Khrushchev's "dizziness by success" made him think that he had solved the agricultural problem, so his further decisions contributed to the new crisis. In 1958, he forced *kolkhozes* to buy the old machinery of MTS at the prices of new equipment so that *kolkhozes* would pay a tribute to the state space program as a part of the competition with capitalism. Therefore, the still extremely low income of *kolkhozniki* again stagnated or even declined. After the MTS were closed, most tractor and combine drivers left countryside not to become serfs as *kolkhozniki* for Khrushchev granted them in the MTS the status of workers with state social insurance (Merl, 2002).

Khrushchev's attempt to create "communist agriculture" contributed to the decline in animal husbandry. He forbade workers and employees to have cattle and started a campaign to force *kolkhozniki* to sell their cattle to *kolkhozes* at state prices significantly below market prices. Many preferred to slaughter their cattle and sell the meat at *kolkhoz* markets. Khrushchev also did not take into account that *kolkhozes* would need additional fodder for winter. The worst consequence of this communist project was that it finally destroyed the hope of returning to private farming, which caused the exodus of the most qualified rural workers that were so needed when Brezhnev started state investments in agriculture. People staying in the countryside did not have education, flexibility or interest to work. Many well educated specialists that were *kolkhoz* heads under Khrushchev's rule quit their jobs for they were fed up with crazy and harmful orders from above.

However, there was an alternative way to increase per hectare and per animal yields which was demonstrated by the experiment of the

tractor driver Ivan Khudenko. He addressed his reform proposal to Khrushchev who made him a director of the state farm in Kazakhstan. Khudenko reduced the workforce by 90 percent and tractors by 75 percent, and with the remaining tractor drivers he tripled grain production and could even pay some money to those who had lost their jobs. Khudenko proved the super-fluousness of the huge state agricultural administration and the bureaucracy struck back: instead of being awarded with the order of Lenin he was arrested for “corruption” and died in prison (Merl, 1990c; Zhizn posle zhizni, 1989; Yanov, 1984).

This example is not an exception which is proven by a widespread phenomenon of *shabashniki* — highly motivated migrating teams of workers paid by cash by *kolkhozes* to do urgent work in a short period. Without motivation no *kolkhoznik* would fulfill such a task, so *shabashniki* supported the Soviet agriculture under the threat of arrest. Khrushchev called them “parasites” and they were often persecuted as “speculators” although *kolkhozniki* could be hired for cash by neighboring *kolkhozes*. The normal *kolkhoznik*’s lack of motivation can be explained by “*obezlichka*”, i.e. the lack of personal responsibility. Stalin had already mentioned this problem in industry in 1931, but the agricultural bureaucracy blocked any changes. Only those were awarded a premium who did a great work on huge areas although this was counterproductive for raising yields. Within the brigades it was hardly possible to decide who worked well or badly especially for the results became evident only after the harvest. This had a negative impact on the work discipline: why to work hard if the lazy-bones get the same payment? Only small teams from the mid-1930s showed better results.

In the mid-1960s, for the first time in the Soviet history there were important state investments in agriculture. After the quick changes under Khrushchev’s rule, agrarian policy became stable and determined some increase in yields but in the 1970s stagnation returned again. The most striking feature of the period was that the increase in capital inputs did not correspond with a significant decrease in labor inputs. During harvest millions of students and industrial workers were sent to help in the countryside although the available rural workforce in the Soviet Union was five times larger than in the Western agriculture. The “lack of labor” was due only to the lack of work motivation of the majority of rural workers. Thus, capital inputs did not ensure raising yields or efficiency, for instance, huge investments in irrigation led to just one percent of annual increase in yields, while there was a significant increase in waste. Finally, the state had to cover losses of agricultural enterprises. Instead of forcing enterprises to increase efficiency by keeping producer prices stable, as the European Union successfully did, the Soviet state always preferred to increase subsidies to cover the raising costs.

Capital inputs under Brezhnev’s rule were not smaller than today but it was the state rather than enterprises to decide on investments.

The agricultural producer could not choose the type of machinery and had to take what the planned economy suggested. Hungary in the 1970s showed that agricultural enterprises with free choice of investments could double corn yields in a few years by using Western machinery and competing service providers. Agricultural machinery produced by the Soviet industry did not meet Western standards in both quality and labor safety. Combine harvesters often caused huge harvest losses. Hardly any Soviet tractor or combine could work out the guaranteed period without breaking down, i.e. such machinery served interests of machinery producers rather than needs of agricultural enterprises. For the industry it was profitable to produce heavy machinery although it damaged the soil; the industry had no interest in producing spare parts, and under Brezhnev's rule already during the railway transportation new machinery mostly served as spare parts warehouse. Thus, when it reached the destination, it had only parts left that could not be used. Therefore, mechanization of agricultural work was never finished, and a lot of activities during harvest, in animal husbandry and milk production were still manual.

Instead of eliminating the "command system" in agriculture Brezhnev decided to introduce "socialist competition" to agricultural enterprises and workers. A huge state apparatus was busy with counting work results, awarding the winners and propaganda. Considering the stagnation of per hectare and per animal yields it is evident that such efforts had absolutely no effect for productivity. The attempt to overcome strong deficiencies of agricultural machinery by labor incentives was typical for the Soviet ideology claiming that success depended on the "right cadres" which was doomed to failure.

From the mid-1950s there was an intensive knowledge exchange with the West: many soviet specialists were sent abroad to study, and according to the archives of the Soviet Ministry of Agriculture every progress in the West was known in the Soviet Union. Models of efficient Western machinery, animal breeds, hybrid seeds, equipment for producing concentrated fodder and milk were imported. Some models were developed by Soviet research institutions for Soviet mass production but the agricultural machinery producers were not able or willing use this knowledge. Moreover, the Soviet countryside lacked transportation capacities until the very end of the Soviet period and also lacked qualified labor needed for more developed machinery. As a result, in the early 1970s a large amount of grain was imported for food: first imports were due to the bad harvest in 1963 to avoid a heavy decline in livestock.

With the calls to the "*fermer*" and return to private farming at first radical reformers had a great success: peasants were allowed to work on their own without state interference. In the early 1990s, a minority of rural workforce, about 240.000 families, decided to become *farmers* while the majority of new *farmers* were not previously rural workers but rather industrial workers, townspeople or the leading

and qualified personnel of collective farms with good local networks to organize their farms. Collective and state farms without any desire had to provide *farmers* with land. The *farmers'* movement shows to what extent some people were fed up with state paternalism and wanted to become their own masters. Many of them had more idealism than knowledge of agricultural production although many managed to get a tractor, farming implements and irrigation equipment. I met some *farmers* in 1992 and 1993 and believe that about 10 percent of them could become successful peasants with modern farms of several hundred hectares. It was not their fault that almost all of them failed by the mid-1990s; many stayed in the countryside and worked on their private plots.

The main reason for their failure was agricultural depression that started in 1992 after liberalization of prices that revealed an excessive demand for meat products. Liberalization of prices halved the demand for meat — to the level expected from the general industrial development in Russia. Many urban consumers preferred to buy well packed and better processed meat products imported from the West. *Farmers* never got access to urban markets for the control of transportation and marketing of food products was quickly taken by local mafia groups that made producers pay for “protection”. There was no need to raise production but to produce agricultural products more efficiently to sell them in the market without losses. The quality of processing, storage, transportation and marketing neglected during the Soviet period now became the Achilles heel of the Russian agricultural producers.

At the same time serious mistakes of the radical reformers became evident: they correctly estimated the efficiency of labor inputs in the Soviet agriculture as very low but were too much focused on the idea of private property and did not take into account the necessary size of peasant farm under today's agricultural technology. *Farmers* usually got 40 hectares but had no chance to lease or buy additional land or to use their land property as a deposit to get credits to improve their farming. 40 hectares under the Russian extensive production were insufficient. For instance, under the transition to the market economy in the GDR the medium size of new peasant farms was about 150 hectares; thus, in Russia from 500 to 1000 hectares would have been necessary. It took Russian legislation more than 10 years to eliminate restrictions on private land property but only agricultural holdings benefited from it.

Putin's agriculture: Rapid growth of yields, risky focus on agroholdings

Unlike the Soviet past, today, after privatization, agroholdings pursue their personal gains and are masters of their fields free from admin-

istrative interference in production decisions. The state uses economic levers and subsidies to guide the development of agriculture in the desired direction. These subsidies make investments in agriculture attractive even for non-agricultural capital owners. Although the production itself always has losses, state subsidies and food exports ensure significant profits (Wegren, Nikulin, Trotsuk, 2018). The rapid growth of per hectare and per animal yields is determined by the use of Western machinery and livestock breeding equipment, seeds and cattle breeds. The “green revolution” taking place in Russia mainly in agroholdings and some peasant farms finally introduces new agricultural technology and achievements of industrial agriculture (Merl, 2015).

Putin’s agricultural policy tried to support private farmers; however, the lack of experience in selecting promising peasants and especially the widespread corruption determined that only a minor part of state subsidies was provided to active peasants. Moreover, in recent years they lost state protection for the state allows land-grabbing by agroholdings. “Household farms” are successors of the Soviet private plot production and a separated part collective farms that does not take part in the “green revolution”: only very few of them want to become peasants or lease machinery. The majority of them are the elderly without qualification producing just some additional food for their own consumption. The state is very at risk relying primarily on speculative large agro-holding production dependent on state subsidies for there is a high risk of losses and failures for capital owners especially considering the scale of agro-holding production — many of them have more than 200.000 hectares under cultivation.

Thus, the growth of per hectare and per animal yields in Russia from the early 2000s prove that the low Soviet yields cannot be explained by bad soil or climate. A different approach allowing agricultural producers — large-scale enterprises and peasant farms — to master their fields and investments, production and marketing would have made already Stalin’s agriculture efficient enough to feed the working class, to support industrialization and to export food after the World War II. In the 1920s, the Soviet Union successfully used economic levers to increase yields and improve peasant agricultural technology but in 1929 the situation changed radically — Stalin focused on state compulsion and deprived agricultural producers the right of making decisions on agricultural production and of getting adequate payment.

These are the features determining the results of the Soviet “socialist” agriculture:

- The Bolsheviks did not trust peasants and later heads of collective and state farms. They considered them as counter-revolutionaries, incompetent farmers and unreliable allies incapable of efficient agricultural production. Thus, only in short periods of liberalization in 1953, 1965 and 1985 there was some increase in yields.

- The quality of Soviet agricultural machinery and equipment lagged far behind the Western standards at least from the 1950s. Moreover, there were no mechanized equipment for private plots. Soviet agricultural equipment never allowed to fully mechanize the production especially in preparing hay and fodder and dairy production. Stalin's "industrialized agriculture" was designed for the aims of control rather than modernization of production.
- From the 1870s to the very end of the Soviet period the rural sector suffered from the hidden unemployment. While in the developed capitalist countries 1-2 percent of the workforce produce enough food for the population, in the Soviet agriculture even in the 1980s more than 10 percent of the workforce was employed. Soviet agricultural labor productivity was only 10-20 percent of the capitalist countries level, which is determined by the loss of motivation in the Soviet agricultural regime that alienated people from the results of their work. This loss of motivation became the main factor of the steady negative trend in yields under the Soviet rule. Stalin's state demanded that peasants worked as serfs engaged in bonded unpaid labor. According to the radical reformers in the late 1980s, collectivization turned peasants into agricultural workers without any interest in the results of their work. Thus, the Soviet agriculture definitely did not lack labor, and the "felt" lack of labor was the result of the lack of motivation to work.
- In the 1920s, hardly any other country had so many agricultural experts as the Soviet Union, and the level of agricultural scientific research was high until the end of the Soviet period. However, this and also Western knowledge was not applied in the everyday production of collective and state farms. The role of Soviet experts was ambivalent: they were scapegoats for failures of the Soviet agriculture and had to provide "bacchanalian" plans so that the party leadership would hide its dilettantism in managing agricultural production, which led to huge differences between optimistic images of the plans and sad realities of rural life.

References

- Ascher A. (1988) *The Revolution of 1905, vol. 1: Russia in Disarray*, Stanford.
- Channon J. (1989) The Bolsheviks and the peasantry: The land question during the first eight months of Soviet rule. *Slavonic and East European Review*, vol. 66, pp. 593-624.
- Danilov V., Shanin T. (Eds.) (2002) *Krestjanskoe dvizhenie v Povolzie, 1919–1922 gg.: Dokumenty i materialy* [Peasant Movement in the Volga Region in 1919–1922: Documents and Data], Moscow (In Russ.).
- Davies R.W. (1974) The Soviet rural economy in 1929–1930. The size of the kolkhoz. C. Abramsky (Ed.) *Essays in Honour of E.H. Carr*, London: Macmillan, pp. 255-280.

- Davies R.W. (1979) *The Industrialization of Soviet Russia, vol. 1: The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture 1929–1930*, London: Macmillan.
- Figes O. (1989) *Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution (1917–1921)*, Oxford.
- Krebs C. (1983) *Die weltanschaulichen und wirtschaftstheoretischen Grundlagen der Agrartheorie im Marxismus-Leninismus*, Berlin.
- Merl S. (1985a) *Die Anfänge der Kollektivierung in der Sowjetunion: Der Übergang zur staatlichen Reglementierung der Produktions- und Marktbeziehung im Dorf (1928–1930)*, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, pp. 166–213.
- Merl S. (1985b) Handlungsspielräume und Sachzwänge in der sowjetischen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit. W. Fischer (Ed.) *Sachzwänge und Handlungsspielräume in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit*, St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, pp. 175–229.
- Merl S. (1988) Hat sich der landwirtschaftliche Großbetrieb bewährt? Zum Vergleich von Agrarentwicklung und Agrarproblemen in der Sowjetunion und der DDR. H. Horn, W. Knobelsdorf, M. Reiman (Eds.) *Der unvollkommene Block: Die Sowjetunion und Ost-Mitteleuropa zwischen Loyalität und Widerspruch*, Berlin: Berlin-Verlag, pp. 139–170.
- Merl S. (1990a) *Bauern unter Stalin: Die Formierung des sowjetischen Kolchossystems 1930–1941*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Merl S. (1990b) Socio-economic differentiation of the peasantry. R.W. Davies (Ed.) *From Tsarism to the New Economic Policy. Continuity and Change in the Economy of the USSR*, London, pp. 47–65, 254–264, 350–353.
- Merl S. (1990c) Steht die Reprivatisierung der sowjetischen Landwirtschaft bevor? *Deutsche Studien*, vol. 28, pp. 289–305.
- Merl S. (Ed.) (1993) *Sowjetmacht und Bauern. Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der Landwirtschaft während des "Kriegskommunismus" und der Neuen Ökonomischen Politik*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 15–78.
- Merl S. (2002) Entstalinisierung, Reformen und Wettlauf der Systeme 1953–1964. *Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 5: 1945–1991. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion*, Stuttgart, pp. 175–318.
- Merl S. (2010) Kann der Korruptionsbegriff auf Russland und die Sowjetunion angewandt werden? N. Grüne, S. Slanicka (Hg.) *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*, Göttingen, pp. 247–279.
- Merl S. (2012) *Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich*, Göttingen.
- Merl S. (2015) Kak udalos Stalinu vospriepjastvovat "zelenoj revolyutsii" v Rossii? K voprosu o tormozhenii agrarno-technicheskogo progressa (1927–1941) [How did Stalin manage to prevent the Green Revolution in Russia? On the obstacles to the agrarian-technical progress (1927–1941)]. *Krestyanovedenie. Teoriya. Istoriya. Sovremennost. Uchenye Zapiski*, no 10, pp. 88–147 (In Russ.).
- Merl S. (2016) Why did the attempt under Stalin to increase agricultural productivity prove to be such a fundamental failure? On blocking the implementation of progress in agrarian technology (1929–1941). *Cahiers du Monde Russe: Terres, Sols et Peuples: Expertise Agricole et Pouvoir (XIX–XX siècles)*, vol. 57, no 1, pp. 191–220.
- Merl S. (2017a) Traditionalistische Widersetzlichkeit oder politische Programmatik? Russlands Bauern im Kräftefeld von Agrarreform und revolutionärer Mobilisierung (1856–1941). *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie*, no 65, pp. 73–94.
- Merl S. (2017b) Sovetskaya ekonomika: sovremennye otsenki [Soviet economy: Contemporary estimates]. *Ekonomicheskaya istoriya. Ezhegodnik 2016/17*, Moscow, pp. 303–349 (In Russ.).
- Miller R.F. (1970) *One Hundred Thousand Tractors: The MTS and the Development of Controls in Soviet Agriculture*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pravda*, 6 June and 11 July 1928.

- Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2006* [Russian Statistical Yearbook 2006] (2007), Moscow (In Russ.).
- Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2013* [Russian Statistical Yearbook 2013] (2014), Moscow (In Russ.).
- Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2017* [Russian Statistical Yearbook 2017] (2017), Moscow (In Russ.).
- Schedewie F. (2006a) *Selbstverwaltung und sozialer Wandel in der russischen Provinz. Bauern und Zemstvo in Voronez, 1864–1914*, Heidelberg.
- Schedewie F. (2006b) *Sozialer Protest und Revolution im Landwirtschaftlichen Zentrum Rußland: die Bauernaufstände im Kreis Ostrogoszk, 1905–1907*. H.-D. Löwe (Ed.) *Volksaufstände in Rußland. Von der Zeit der Wirren bis zur "Grünen Revolution" gegen die Sowjetherrschaft*, Wiesbaden, pp. 453–496.
- Selskoe khoziaistvo SSSR. Staticheskii sbornik [USSR Agriculture. Statistical Yearbook] (1988), Moscow (In Russ.).
- Tragediia sovetskoj derevni: Kollektivizatsiia i raskulachivanie. Dokumenty i materialy* [Tragedy of the Soviet Village: Collectivization and Dekulakization: Documents and Data] (2006): v 5 tomakh. 1927–1939, vol. 5, part 2, Moscow (In Russ.).
- Wegren S.K., Nikulin A., Trotsuk I. (2018) *Food Policy and Food Security. Putting Food on the Russian Table*, Lexington: Lanham et al.
- Yanov A. (1984) *The Drama of the Soviet 1960s. A Lost Reform*, New York.
- Zhizn posle zhizni. Esche raz o sudbe ekonomista i khleboroba Ivana Khudenko [Life after life. Once again on the fate of the economist and grain-grower Ivan Khudenko] (1989). *Izvestiya*. 27.12.1989 (In Russ.).

Переоценка результатов советской сельскохозяйственной политики в свете сегодняшних успехов

Штефан Мерль, доктор исторических наук, профессор Билефельдского университета; Университетская ул., 25, 33615, Билефельд, Германия.
E-mail: smerl@uni-bielefeld.de.

Очевидные успехи политики В.В. Путина требуют переоценки советской сельскохозяйственной модели. Автор задается вопросом, насколько большевистский подход учитывал чаяния российского крестьянства, и рассматривает ограничения «социалистического индустриального сельского хозяйства». Чтобы оценить достижения советского сельского хозяйства, автор опирается на показатели урожайности и надоев с 1913 года, поскольку на протяжении всего советского периода они оставались стабильными в том смысле, что были поразительно низкими для сельского хозяйства, основанного на крупномасштабном и отчасти механизированном производстве. Разрыв в урожайности с соседними капиталистическими странами увеличивался с 1930 по 1991 годы. Значительный и устойчивый рост урожайности с 2000 года не позволяет объяснять неудачи советского сельского хозяйства плохими почвами, особенностями климата или природными ограничениями — виной всему была сельскохозяйственная политика. Вопреки якобы «революционному обновлению» социалистическое сельское хозяйство даже в годы всемирной «зеленой революции» не продемонстрировало ни одного значительного скачка производительности. Автор видит основную причину этого в «инфантилизации» сельскохозяйственных производителей (крестьян, глав колхозов и совхозов) вследствие недоверия и скрупулезного контроля «сверху». В советский период сельхозпроизводители не распоряжались своими полями. Ситуация ухудшилась, когда плановая экономика в 1960-е годы обеспечила сельское хозяйство недостаточным количеством неэффективной техники, не соответствовавшей

западным стандартам. Хотя необходимое оборудование и знания об организации производства можно было получить на Западе, в Советском Союзе не завершилась механизация растениеводства и животноводства. Статья начинается с описания запросов, поведения и ожиданий крестьянства в ходе революций 1905 и 1917 годов, затем, уделяя особое внимание кратким периодам роста урожайности — 1924–1930, 1953–1958, 1965–1970 и 1986–1991 — автор обращается к основам советской сельскохозяйственной политики, разработанным В.И. Лениным и И.В. Сталиным, предлагает краткий обзор подходов к сельскохозяйственному развитию, предложенных Н.С. Хрущевым, Л.И. Брежневым и М.С. Горбачевым, и завершает статью обозначением причин успешности политики В.В. Путина.

Ключевые слова: социалистическое сельское хозяйство, сельскохозяйственная политика, индустриальное сельское хозяйство, инфантилизация крестьян, классовая дифференциация, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев, В.В. Путин.

Экология сельского мира глазами крестьян

В.Г. Виноградский, О.Я. Виноградская

Валерий Георгиевич Виноградский, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: vgrape47@yandex.ru

Ольга Яковлевна Виноградская, старший научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: vgrape58@yandex.ru

Статья посвящена экологической проблематике сельских территорий, которая постепенно накапливалась на протяжении всего минувшего столетия в ряде российских регионов. Особенностью представленного исследования является то, что экологическая история сельских территорий рассмотрена посредством рефлексии самих крестьян, постоянно пребывающих и действующих в мире сельской повседневности. Авторы на анализе большого объема нарративного материала, собранного ими в ходе социологических экспедиций на протяжении последних 25 лет, предлагают рассматривать экологическую проблематику сельских территорий в разных исторических периодах не только как непрерывную смену социумами способов поиска своих мест «в семье природы», но и постепенного отгораживания себя от неё. Они разделяют экологическую историю российских сельских территорий минувшего столетия и начала XXI века на четыре примерно равных по продолжительности периода: «старый», или «общинно-единоличный» (1929–1931 годы); «новый», или «колхозно-совхозный», — с начала коллективизации до конца 1950-х — начала 1960-х годов; «зрелый», «позднеколхозный», от начала 1960-х и до начала 1990-х годов; «новейший», «фермерско-агрохолдинговый», открылся аграрным реформированием 1990–2000-х годов и продолжается в настоящее время. В настоящей статье представлена обобщенная картина, характеризующая социально-экологическую ситуацию в ряде ключевых регионов сельской России на протяжении первых трех периодов. Авторы полагают, что «новейший», «фермерско-агрохолдинговый» период экологической истории российских сел, в силу радикальности вызванных им изменений, должен быть рассмотрен в особом исследовании.

Ключевые слова: сельская экология, сельский мир, экологическая проблематика, сельские территории, хозяйственные практики крестьянских домохозяйств, природоохранные институции, экологическое поведение, местная экосистема

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-70-97

Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011-00029.

Экологическая проблематика городских поселений постоянно находится в зоне придирчивого и неослабевающего внимания политиков, управленцев, специалистов и ученых разных профилей — это очевидный факт. И он не нуждается в особых доказательствах. Хотя в самом термине «город» — сам язык говорит об «от-гороженности» этой формы расселения от природной среды.

Вместе с тем экология сельской местности до сих пор еще не вошла в активную зону дискурсивного общественного пространства — деревня привычно выглядит в общественном мнении неким экологическим парадизом. Куда, как не в деревню, горожане едут за тишиной, чистым воздухом, натуральными рекреационными удовольствиями. Правда, в самое последнее время кризисные экологические ситуации начали систематически перебрасываться и в негородские пространства — имеется в виду начавшаяся в 2017 году скандальная эпопея с подмосковными свалками. Вместе с тем настоящая деревенская глубинка представляется пока что свободной от большинства экологических неурядиц и временами даже бедствий, очевидно присущих индустриальным и просто крупным городам.

Таков общий взгляд. Вместе с тем для сосредоточенного понимания сути проблемы — какова на самом деле сельская экология — очень важны как раз детали. Попробуем восполнить этот информационный пробел и описать некоторые важные элементы эволюции природного мира русской деревни, всмотревшись в него глазами самих крестьян, постоянно в этом мире пребывающих и ежедневно действующих. Попытаемся провести инвентаризацию основных компонентов сельской экологической среды, причем не одномоментную, а взятую в 60-летней исторической ретроспективе. Документальные свидетельства для реализации такого намерения были собраны в ходе крестьяноведческих экспедиций, проходивших на рубеже последних веков в ряде российских регионов. Эти данные будут представлены здесь в двух основных жанрах. Во-первых, как подлинные крестьянские нарративы, записанные в ходе интервьюирования респондентов, и, во-вторых, как отдельные эмпирические обобщения самих участников экспедиций, оформленные в виде заметок, попутных впечатлений, записей из полевых дневников, а также кратких тематических отчетов. Документальные свидетельства были получены с использованием инструментария, базирующегося на принципах качественной социологической методологии и «двойной рефлексивности». Работа была проведена в шести ключевых аграрных регионах России, а также в Республике Беларусь. Было обследовано семнадцать сельских поселений.

Нам представляется, что для проведения инвентаризации имеющегося большого объема нарративного материала необходимо вы-

делить какой-то основной критерий, по которому тот или иной момент крестьянской повседневности можно безошибочно связать с экологической проблематикой. Для этого необходимо определиться с самим термином «экология», который начиная со времени Эрнста Геккеля¹ стал постепенно употребляться почти во всех сферах научной деятельности. Сегодня экология рассматривается некоторыми исследователями как «форма организации знания», которая своим мировоззрением «инфицировала» почти все его отрасли (Креймер, 2013: 126, 139). Такое широкое (прикладное) терминологическое использование экологии, с нашей точки зрения, не только не помогает «организации» той или иной отрасли знания, но и выхолащивает суть самого термина, заложенную его автором в XIX веке. В результате в настоящее время практически все теоретические знания об экологии, в широком смысле, сведены к изучению взаимодействий между обществом и природой, как некой *внешней* (по отношению к человеку) «необузданной» силы, и носят по большей части финансово-экономический, политический или даже этический характер.

Геккель, который, по словам исследователей его творчества (Egerton, 2013: 226), хорошо знал греческий, образовал термин «экология» из двух древнегреческих слов — οἶκος (дом, жилище, место-пребывание) и λόγος² (словари обычно переводят его как понятие, учение, наука), буквальный перевод которых на современный язык может означать, что речь идёт об учении о «доме». О каком доме идёт речь? В одном из своих определений *экологии* Геккель даёт ответ на этот вопрос, выделяя важные словосочетания фразы раз-

1. По мнению большинства исследователей, авторство термина «экология» принадлежит Эрнсту Геккелю (1834–1919), немецкому врачу, зоологу и естествоиспытателю, известному также своими многочисленными теоретическими трудами по философии природы. Считается, что Геккель впервые использовал этот термин в 1866 году в своём труде «Generelle Morphologie der Organismen», здесь же он дал и его общее определение: «Под экологией мы понимаем общую науку о взаимоотношениях организма с окружающим внешним миром, к которому мы в более широком смысле в состоянии причислить все “экзистенциальные условия”. Они частично органической, частично неорганической природы; и, как мы показали ранее, как эти, так и те, имеют наибольшее значение для формы организмов, потому что они тем самым побуждают их адаптироваться к ним» («Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle “Existenz-Bedingungen” rechnen können. Diese sind theils organischer, theite anorganischer Natur; sowohl diese als jene sind, wie wir vorher gezeigt haben, von der grössten Bedeutung für die Form der Organismen, weil sie dieselbe zwingen, sich ihnen anzupassen») (Haeckel, 1866: 286).
2. Этимологически древнегреческое слово λόγος произошло от λέγω — говорить, первоначальное значение которого было — собирать, сосредоточивать (Н εκκλησία, 2013).

рядкой, — речь идёт «о взаимоотношениях организма с окружающим внешним миром, к которому мы в более широком смысле в состоянии причислить все “экзистенциальные условия”» («von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle “Existenz-Bedingungen» rechnen können») (Haeckel, 1866: 286). При этом «Existenz-Bedingungen» — это условия, которые *позволяют* существование организма через принуждение его к *собранности* с собой, в своём *собственном о́йкос*. Понятая таким образом *экология* уходит от односторонности и механистичности во взаимоотношениях организма с окружающим внешним миром, рассматривая последний в качестве *места*, «которое каждый организм берёт в семье природы» (Haeckel, 1866: 287), становясь при этом с ней единым целым.

В настоящей статье авторы предлагают рассматривать экологическую проблематику сельских территорий в разных исторических периодах не только как непрерывную смену социумами способов поиска *своих мест* («в семье природы»), но и постепенного *отгораживания* себя от неё.

Экологическая история российских сел на протяжении всего минувшего столетия и начала XXI века может быть разделена — в той мере, в какой это позволяет сделать собранный в ряде экспедиций историко-социологический материал, — на четыре примерно равных по продолжительности периода. Первый из этих периодов, который условно можно назвать «старым», или «общинно-единоличным», приурочен ко времени, предшествующему событиям коллективизации 1929–1931 годов; второй, «новый», или «колхозно-совхозный», — с начала коллективизации до конца 1950-х — начала 1960-х годов; третий, или «зрелый», «позднеколхозный», от начала 1960-х и до начала 1990-х годов; и, наконец, четвертый, или «новейший», по преимуществу «фермерско-агрохолдинговый», открылся аграрным реформированием 1990–2000-х годов, отмеченным радикальными изменениями экономической и социальной моделей развития. Он происходит в обстановке современных российских социально-экономических и организационно-политических реалий.

Каждый из перечисленных периодов обладал своими особенностями и характеризовался специфическими отличительными чертами. Не исключено, что и сами разделительные метки между этими периодами можно было бы фиксировать по целому перечню критериев. И если переход от «старого», «общинно-единоличного» периода природопользования к «новому», «колхозно-совхозному», связан прежде всего со сменой организационной модели хозяйствования, то уже трансформация этого последнего этапа в «позднеколхозный» и особенно «новейший», неразрывно связана и обусловлена сначала с массовым приходом в село индустриальной цивилизации с ее неизменными атрибутами механизацией, электрификацией и химизацией, а затем и радикального обновления всех технологических и менеджерских практик последних 10–15 лет.

Но содержанием всего этого, уже почти столетнего, периода, его глубинной сутью следует, вероятно, признать деформацию, а часто и просто разрушение экологического равновесия между крестьянскими домохозяйствами и привычной средой их жизнедеятельности. Нельзя сказать, что подобные действия были исключительно сознательно целенаправленными и осуществлялись «сверху» как реализация некой злой управленческой воли. В ряде случаев такие последствия возникали по недосмотру и непрофессионализму управленцев, были результатом высокомерного пренебрежения к исконным крестьянским опытам.

Однако взятое в целом отлучение от природной среды носило вполне осознанный и целеустремленный характер и, более того, имеет все признаки долговременной государственной политики, которую можно назвать политикой «огосударствления» среды обитания. Разумеется, эта политика вовсе не имела в виду эскалацию экологического кризиса до масштабов национального экоцида, как считали некоторые комментаторы конца 1980-х гг., склонные к обостренному восприятию экологической проблематики (подробнее об этом см.: Ахиезер, 1990; Веклич, 2004; Докторов, 1990; Моисеев, 1982; Торпов, 2010; Уразаев, 2000; Хильми, 1975; Шубин, 1992; Яницкий, 1978).

Этот кризис, скорее, является ее побочным, хотя и весьма неприятным продуктом. На самом деле организаторы этой политики ставили перед собой другую, вполне прагматическую цель: снять те ограничения для быстрого экономического роста, которые накладывались на него старой общинной моделью природопользования и независимыми крестьянскими природоохранными институтами. И поскольку эта политика была подчинена «внешним» для крестьянского мира целям и не контролировалась на уровне села, она была и по сей день остается в крестьянских рассказах разновидностью стихийного бедствия, ниспосланного свыше, которое нельзя было предотвратить раньше и которому нельзя противостоять и по сей день: «жизнь виновата» (*Поволжье, деревня Красная Речка*)³.

Следует уточнить, что в настоящей статье мы не будем касаться лишь «нового», «фермерско-агрохолдингового» периода экологической истории российских сел, поскольку считаем, что его рассмотрению, в силу радикальности вызванных им изменений, необходимо уделить особое внимание и посвятить этому особое изложение.

3. Здесь и далее в кавычках приводятся выдержки из крестьянских устных историй, записанных в ходе социологических экспедиций в сельских поселениях различных регионов сельской России и Белоруссии.

По сравнению с концом 1980-х — началом 1990-х годов (не говоря уже о последней четверти века) экологическая ситуация, наблюдаемая в «старой», «общинно-единоличной», доколхозной деревне, представляется респондентам вполне эталонной. Для них это своеобразный «золотой век», время очевидной, благоприятной как для повседневного хозяйствования, так и вообще жизни, т.е. жизни гармонии с природой.

Далее мы будем цитировать соответствующие оценки и мнения крестьян, характеризующие различные стороны социально-экологической проблематики. Следует предупредить, что, разумеется, нельзя некритически относиться ко всем этим высказываниям, но тем не менее рассказы о том, давно ушедшем, времени прочно удерживают в себе характеристики старого сельского мира. При чтении их остается ощущение стабильности, устойчивости, *собранности*, в своём *собственном ойкосе*, своеобразного экологического равновесия. Разумеется, его поддержание требовало особой организации общинного природопользования, специальных природоохранных институций, сложных правил экологического поведения, освященных традицией и основанных на религиозных морально-этических принципах. Размеры сельскохозяйственной деятельности ограничивались сравнительно небольшими потребностями семей и менялись только в зависимости от их размеров.

Одной из важных особенностей этого периода было существование понятия «своей», общинной, переходящей из рук в руки по жребью, земли, пашни, а также окрестных угодий — лесов, пастбищ, водных ресурсов, деревенских улиц, дорог, мостов, изгородей, колодцев, которые следует обязательно содержать в порядке, обихаживать и беречь. Этот список включает не только природные, но и хозяйственные объекты потому, чтобы они не «конфликтовали» между собой, а дополняли друг друга, и тогда проблемы территории для крестьян были сродни проблемам экологии.

«Раньше на реках нашего села было 9 водяных мельниц и 9 прудов, разводили гусей и уток. По берегам тянулись обширные полевые огороды. Сажали помидоры, огурцы, репу, капусту.

Раньше хозяева косили прямо в лесу, на полянках и вырубках, поддерживая тем самым набор лесных трав, храня сено в стогах в лесу и поддерживая в порядке дороги к лесным сенокосам, регулярно их расчищая и поправляя» (Саратовская область, Новобураковский район, село Лох).

«Раньше крестьяне обязательно меняли посевы на одной и той же земле. И сейчас агроном применяет севооборот. Но почему раньше

земля была не в пример нынешней красивой и ухоженной? Потому что в старой деревне смена посевов и сельскохозяйственных культур была делом общедеревенским, а не только работой агронома. Все решалось сообща. И это ощущалось как справедливое и богоугодное дело. Чтобы бороться с сорняками, паашню двоили — пахали весной и осенью. Но главное — ручная, тщательная прополка пшеса и подсолнечника. Она и делала поля чистыми и красивыми. Сейчас пахотная земля запущена. Благополучие у крестьян связывалось с ручным трудом (севом, прополкой, сбором урожая)» (Белгородская область, Вейделевский район, село Викторополь, дневниковая запись⁴).

«Атамановка состояла из отдельных единоличных хозяйств, хаотично расположенных. Каждое имело дом, сад, огород, картофельную леваду, сенокос, пастбище, гумно, пахотные земли. Было оптимальное соотношение между средой природы и человека» (Вологодская область, Даниловский район, хутор Атамановка, дневниковая запись).

Следует отметить, что водные ресурсы доколхозной деревни были поистине драгоценным достоянием любого сельского пространства, независимо от региона исследования. Дело в том, что по сравнению с колхозными и особенно постколхозными временами количество домашней скотины (особенно крупного рогатого скота) было неизмеримо более значительным. Крестьянским домохозяйствам ежедневно были потребны удобные, чистые, ухоженные естественные водопой. Поэтому реки, речки, ручьи, пруды всегда были под неусыпным присмотром всего крестьянского мира. Заболоченные территории запада России и Белоруссии также были включены в хозяйственно-экономические практики местного населения.

Таковы некоторые детали исторической экспликации типовых хозяйственно-экономических практик, характерных для западных областей России и, в частности, Белоруссии. Для сопоставления этой картины переместимся намного севернее, в Вологодскую область, а затем на несколько тысяч километров восточнее, в Сибирь (Алтай и Новосибирская область).

«До коллективизации отношения человека и природы строились на основе единоличного хозяйствования. Крестьяне сами осуществляли все работы на земле и в лесу. Реки использовались как естественные средства сообщения, источники чистой воды и рыболовные угодья. Пахота и сенокосы были основными источниками

4. Социологи в своих дневниках наблюдений, которые систематически велись в ходе экспедиций, записывали не только подлинные крестьянские рассказы, но и фиксировали собственные наблюдения. Здесь и далее эти цитаты будут помечены как «дневниковая запись».

ми существования. Лес был источником ценной древесины, дичи и пушного зверя. На земле всю работу регулировала община. Объемы сельскохозяйственной деятельности ограничивались возможностями и обуславливались потребностями конкретного домохозяйства. В свою очередь, потребности определялись в основном размерами семьи. Рынка сельскохозяйственных продуктов практически не существовало. Возможности определялись природными условиями северного края.

Земля обрабатывалась медленно, это было трудоемкое занятие. Естественные пахотные угодья располагались исключительно и только по берегам рек. Обширные сенокосы и пахотные пространства очень ценились. Поля удобрялись только навозом. Количество кормов регулировало и, как правило, ограничивало количество скота. Летом скот пасли в так называемой "поскотине", то есть на выгонах, непосредственно прилегающих к деревне, и со всех сторон огороженных заборными слегами, либо в окрестном северном мелколесье; луга же тщательно удобряли и берегли для сенокосов. Скотину крестьяне обычно гнали на летний выпас далеко вверх по реке» (Вологодская область, Кич-Городецкий район, деревня Уткино, дневниковая запись).

Таким образом, в составе хозяйственных практик отчетливо наблюдается в это «единоличное» время общая для всего населения конкретного села социально-экологическая настроенность, согласный мир, ведомый своего рода негласным экологическим императивом, вытекающим из потребностей физического выживания, и в то же время из стремления минимизировать технологические усилия. Короче говоря, крестьяне со своими актуальными жизненными потребностями аккуратно встраивались в местную экосистему.

«Лес был богат ягодами: брусникой, голубикой, черникой, клюквой, морошкой, малиной. Их собирали и заготавливали на зиму бочками. Сбор грибов для засолки был весьма элементарен. Просто с утра снаряжались всей семьей, ехали в лес телегой и привозили ее полную грибов. Использование леса было строго регламентировано. Существовали некие общепринятые правила лесопользования, которые крестьянами довольно строго соблюдались, а лесничими с обездичками контролировались. Лес вырубался только зрелый, выборочно. По воспоминаниям А. Богдановой, в деревне осудили паренька, просто так рубанувшего живой древесный ствол топором» (Архангельская область, Пинежский район, деревня Кобелево, дневниковая запись).

И в данном сюжете крестьянские воспоминания фиксируют всё ту же общую заботу о ресурсном потенциале местных природных угодий и необходимых, но недостаточных объемах его потребления. Ин-

интересно также посмотреть, какой была ситуация с добычей лесной дичи и рыбных запасов на Русском Севере. В этом же рассказе промелькивает сюжет об утилизации отходов крестьянской жизнедеятельности — тема, чрезвычайно обострившаяся в настоящее время, то есть целый век спустя.

«Охотничьи угодья в лесу были свои у каждого охотника. Каждый охотился на своих местах. Рыба ловилась в умеренных количествах — семга, сиг, хариус. Рыба была на крестьянском столе, но в меру. Страда естественным образом ограничивала время, свободное для рыбной ловли. Рыба бралась по потребности. Реки использовались как пути сообщения. Плавали на долбленках и карбасах. Лес сплавливали только плотами в большую воду. Реки использовали и для полоскания белья. Его стирали целочком — древесной золой, заваренной кипятком. Для мочения льна и конопли использовалось озеро на Дюковом наволоке. Оно называлось “могильной ямой”. Тогда же за кладбищем существовала свалка для мусора. Его вывозили туда на лошадях и сжигали (в пожароопасное время) под строгим присмотром. Охотники, лесорубы, заготовители уделяли большое внимание загашению и заливке костров в лесу» (Вологодская область, Кич-Городецкий район, деревня Леонтьевщина).

Отметим попутно, что уходящие в глубину времени практики негласного, но, безусловно, прочного закрепления территорий охоты за конкретным человеком или семьей сохранились до настоящего времени. Изучая неформальные экономические форматы в Южно-Русском регионе (в частности, в кубанском Приазовье), мы убедились в том, что все наиболее уловистые участки берегов рек и особенно азовских лиманов точно и традиционно поделены между представителями наиболее авторитетных станичных кланов. Нарушение порядка рыбной ловли в этих местах чужаками жестоко, вплоть до физической расправы, пресекается. Крестьяне в своих повествованиях о доколхозных порядках землепользования (и в целом природопользования), об экологической составляющей подобного рода практик большое внимание уделяют именно земле.

Примерно такая же ситуация вырисовывается в Сибирском регионе. Вот характерные крестьянские высказывания по этому поводу:

Николай Федорович Куррияненко (1908 г.р.): «И лис, и волков, и зайцев было больше. Раньше урожаи были потому, что самостоятельные мужики вспахивали целину. Три-четыре года снимают урожай, пускают ее отдохнуть — не меньше трёх лет. Отдохнуть дал, потом ее опять пашет... Наш дед знал все. В Егорий — надо пахать. После него морозов не будет. Раньше залежь — снега мно-

го. По три года земля отдыхала. Дожди часто были, урожай был. Урожай был потому, что Бога молили, не матерились. За мужиков молили» (Алтайский край, Завьяловский район, деревня Александровка).

Таким образом, экологические практики домохозяйств в Сибирском регионе (в данном случае — в Алтайском крае) принципиально не отличались от таковых, имевших место и на Русском Севере, и на западных границах России, а также в Белоруссии. Разным оказывалось природное окружение, и в меньшей степени — климатическое своеобразие указанных регионов. Однако эти разные сельские миры были исполнены того особого хозяйственно-экономического «настроения», в котором явно ощущается совокупная воля и традиционные практики общинного природопользования с его регламентационными, наблюдательно-ограничительными механизмами и санкциями. Как мы увидим, уже в колхозную эпоху таковые постепенно погасают и перерождаются.

Анна Матвеевна Панцевич (1908 г.р.): «В Плотниково было согласие с природой. Волостной староста следил за общим порядком в селе. Землемер отвечал за сохранность земель и лесов. Каждый хозяин имел свой надел. На нем были и посевы, и сенокосы. Хозяин мог рубить лес только на своем наделе. Даже дороги к наделам указывались сельским обществом. Лес был кругом деревни. Много ягод. В поле пашню корчевали. Поскотина была вокруг всей деревни. И лес, и поскотина были разделена на участки. И хозяин постоянно следил, чтобы не было потравы. Пасеки стояли в поле. Их никто не охранял» (Новосибирская область, Новосибирский район, село Плотниково).

Сходная по интенсивности и широкоохватности работа велась и в Тамбовской глубинке.

«Для того чтобы бороться с ежегодными разливами трех рек, строились мосты, ежегодно прорывались и постоянно поправлялись канавы для оттока талых вод в речки. В деревне была создана целая система водоотводов, которая поддерживалась жителями в порядке. За этим постоянно наблюдали волостные власти — староста, урядник. Каналы предохраняли поля от смыва.

С водой вообще много возни, каждый день надо про воду заботиться. Вот пруды копали вручную и насыпали высокие земляные дамбы, чтобы сохранить воду в тех прудах. Они еще частично сохранились, хотя и в запущенном виде, обмелели и заросли тиной. Там сейчас мелко, грязная вода, лягушки кричат по весне. Один пруд имел дно, выложенное кирпичом» (Тамбовская область, Моршанский район село Покрово-Марфино).

Другой респондент из того же Моршанского района, но уже из деревни Рыбное, довольно подробно воспроизводит бытующие в этих местах, по существу, легендарные исторические схемы, воспроизводящие «золотой век» деревенской экологической картины и обстановки:

«При единоличном хозяйстве вдоль речек все подбирали, чистили и камыши, и осоку, и ивняк. Из лозы плели, камыш умело клали на крышу. Никакой дождь не проливал камышовое покрытие. Возле речек было чисто, скошено, прибрано.

В 1920-х годах лесом распоряжался сход. Там решали, кому и сколько дать. Назначался срок порубки. Лесник был видной фигурой. Следил, чтобы после лесозаготовок убрали ветки.

При единоличном хозяйстве весной и осенью навоз вывозился на участки за 10–15 километров в поле. С такого поля был хлеб...» (Тамбовская область, Моршанский район, село Рыбное).

Что касается Тверской области, то записанные в нескольких селах и деревнях воспоминания о доколхозных практиках, нацеленных на поддержание экологического благополучия, так же как и в других регионах сельской России, фиксируют ситуации постоянного и результативного взаимодействия жителей, согласования их интересов и трудовых усилий через механизм сельского схода. Вообще говоря, в это единоличное время, в противовес нынешнему состоянию сельского социума, имело место систематическое сотрудничество отдельных крестьянских дворов, направленное не только на поддержание в исправности окрестных угодий, этого кормящего, одевающего, отапливающего природного агрегата, но и постоянно наблюдались акты мирского согласия, ситуации общей договоренности по поводу любых общинных дел и забот.

«Во все времена от деревни к деревне дороги, мосты, прогоны для скота содержались в лучшем состоянии. Поддерживал порядок сельский сход. Люди так были приучены, что, например, проходил прогон от деревни к деревне и к лесу, или к пастбищу. Каждый житель в зависимости от семьи и своих возможностей брал и делал столько прясел, которые ему достались. Он должен был за этой изгородью следить периодически — осенью и весной.

Кончался весенний сев и до пара, а это недели две-полторы, время использовалось на благоустройство дорог и строительство мостов, поднимали трудоспособных, шли мужчины и женщины, нарубали сушняк, ветки, а потом возили песок, гравий. Дороги засыпались и приводились в надлежащий порядок. А сейчас они в ужасном состоянии» (Тверская область, Осташковский район, Сиговка).

«До войны Городня славилась своей рыбой, воду из Волги подавали даже в чайных. Влияние бытовых стоков Твери, тверских кожевенных заводов Шишкина и Шкваркина, а также Коняевской мельницы почти не ощущалось. Пройдя около 30 км от города, вода полностью очищалась» (Тверская область, Конаковский район, село Городня).

Такова общая картина социально-экологической проблематики взаимодействия представителей сельских сообществ, в частности — крестьянских единоличных домохозяйств в проекции их неформально-экономической активности, рассмотренной на материале крестьянских устных историй, в которых отражается историческое время накануне коллективизации 1930-х годов.

Экологическая проблематика сельских сообществ времен раннего и зрелого коллективного хозяйства (1930–1960-е годы)

Экологическая проблематика аграрной сферы не может не учитывать ряд общих предпосылок, детерминирующих весь событийный массив, приуроченный к нескольким десятилетиям колхозной эпохи. Наиболее общим фоном соответствующих практик была их фундаментальная идеологическая подоснова. В соответствии с господствовавшими марксистскими схемами только социалистический общественный строй открывает реальные возможности для всеобщего материального достатка и процветания, если не изобилия. Но перед социалистическим обществом никогда не ставилась задача находиться в гармонии с природой. Наоборот, оно конструировалось не в последнюю очередь для того, чтобы конфликтовать с ней. И пусть даже этот конфликт маскировался лозунгами покорения природы, яркими схемами хирургического корректирования и приспособления ее естественных процессов к человеческим потребностям (вспомним И.В. Мичурин и его максиму о «милостях природы», грандиозную целинную эпопею, безумный проект поворота северных рек и множество других распорядительных, всегда амбициозных замыслов и действий), сущность оставалась одной — решительно перелопатить натуру и «окультурить» ей изначальную дикость.

Глубинная причина этого произвольного натиска заключается в том, что окружающая среда опрометчиво описывалась идеологами марксизма как находящаяся в состоянии беспорядка и хаоса. Историческая миссия социализма состояла, в частности, в том, что именно новый, прогрессивный общественный строй должен был ликвидировать этот хаос, «покорить» природу и использовать ее в своих интересах. Интересы прогресса обязывали снять противоречия между средой «как она есть» и какой она «должна быть» (Шанин, 1998). Именно поэтому на протяжении всего советского

периода понятие «покорение природы» играло столь важную роль в официальной идеологии.

На рубеже 1930-х годов, с началом развертывания всей системы коллективизационных мероприятий, в российских селах стали быстро изменяться формы и принципы организации всей крестьянской жизни, включая и ее природоохранную сторону. Социально-экологические привычки сельского населения постепенно ампутировались и довольно скоро они стали коренным образом отличаться от старых, общинно-единоличных алгоритмов повседневности. Не в последнюю очередь это могло осуществиться потому, что деревня стала жестко управляться сверху, при помощи приказов и постановлений. Их логика была продиктована не локальными нуждами и не стремлением поддержать экологический баланс, а необходимостью вписаться в рамки многочисленных советских починов и кампаний. Вместо прежнего хозяина всех сельских угодий — схода, появился колхоз, а вслед за ним и различные отраслевые организации — лесные, землеустроительные, рыбо-промысловые, которые взяли на себя большую часть всех старобщинных природоохранных функций, лишив при этом последние их чуть ли не инстинктивной, чутко реагирующей на общую экологическую ситуацию, заряженности. Осторожная чуткость сельского мира к своему природному телу сменилась громогласной переустроительной активностью с ее неперменной демонстрационно-показательной компонентой, адресованной высокому начальству. В определенных формах подобного рода практики сохранились и по настоящее время, нередко приобретая (в силу их мощной технологической оснащенности) поистине трагический характер.

Начавшийся в послевоенное время миграционный отток из сел привел к тому, что окраинные деревни постепенно обезлюдели, возникла необходимость укрупнения хозяйств, управляющие органы которых переносились в райцентры и крупные города. Ведомства, монополизировавшие управление природными ресурсами, еще больше удалились от конкретных территорий. Теперь они могли сочинять самые фантастические планы «великого преобразования природы», не будучи связанными контролем со стороны сельского населения, которое должно было безропотно терпеть все последствия претворения в жизнь этих планов. Все эти процессы так или иначе зафиксировались в памяти крестьян. Их рассказы о колхозной эпохе природопользования наполнены довольно ясно различимой тревогой, озабоченностью и порой безнадежностью.

Респонденты внимательно фиксируют прогрессирующую по мере эволюции колхозных технологических порядков степень рачительности и внимательности в ходе осуществления рутинных полевых работ. В рассказах довольно часто фигурирует контраст между каждодневной заботой о собственном приусадебном участке и обезличивающей «казенщиной» колхозных процедур.

Водоохранные привычки доколхозной поры еще довольно долгое время воспроизводились в хозяйственных практиках домохозяйств, контролируемых местной властью. Но с постепенным введением в строй водопроводной деревенской сети речки перестали быть предметом чуть ли не ежедневной заботы и постоянного сезонного ухода.

«В 1950-е годы за речкой Теплой еще следили: заплетали берега лозняком, не валили бытовой мусор. За этим наблюдал председатель сельсовета. Русло реки регулярно очищалось и до появления водопровода в 1953–54 гг. из нее брали воду. В окрестностях существовало несколько знаменитых степных колодцев. За ними тоже следили — каждый день вычерпывали из них воду. А как появилась вода в домах — речка стала пропадать, зарастать, пахнуть какой-то заразой. Противно подходить к ней близко...» (Саратовская область, Новобурасский район, село Тепловка).

Весьма типичный сюжет, постоянно фигурирующий в крестьянских воспоминаниях о колхозных практиках землепользования, — это противопоставление хотя и различных по трудоемкости (машинный труд, разумеется, легче), но несопоставимых по качеству продукции и особенно угнетающих экологическую систему технологий.

«...перепали всё-всё, а урожай не тот, что раньше. Бывало, косишь пшеницу “крюком” — ребро за ребро заходит, а сейчас? Сели на трактор, наделали валков, они лежат, гниют... Тогда землю обрабатывали лучше. И навоз свой. А еще навозом и топили! А сейчас колхоз глину везёт..., не хватает. Тогда-то один раз вспашут — глядят — мало. И еще раз вспашут, а сейчас? Сейчас не умеют пользоваться землей. Одна химия, птичек по весне не слышно, потравили всех с самолета. Колхоз обработку заказывает...» (Тамбовская область, Моршанский район, село Покрово-Марфино).

Развитие колхозов заметно повлияло на экологическую систему северных территорий сельской России. Особенно это стало заметным, когда мы записывали крестьянские рассказы в Архангельской области. При колхозах объёмы лесозаготовок постоянно менялись в сторону их увеличения: они планировались государством и год от года нарастали — это считалось делом чести. Сплав леса для его повышенных объемов проводится уже не плотами, а молам, что привело к постепенному засорению рек топляком. А постепенное расхождение между вырубкой и приростом леса стало началом «облысения» тайги в этих местах.

«Анастасия Ефремовна Амосова, работавшая девушкой до войны и после войны на лесозаготовках, сравнивает рубку леса тогда и во времена послевоенного колхоза:

И.: А как лес — рубили выборочно или подряд?

Р.: Если лесозаготовки, то подрост оставляли, чтобы не нарушать. И березы тогда не рубили, потому что ведь молевой сплав был, она все равно скоро осяжала, ну, тонула, утыкалась в дно. И вот дровяных таких старались много не валить, только если уж на дорожке, то уж тогда некуда деваться. Ну, а почвенный-то слой — он на лошадах так-то не нарушался. И где не мешает молода сосенка или елочка, то ее-то не рубили. А пень-от, чтобы не выше десяти сантиметров чтобы был. Чтоб его и выдать не было от земли!..

И.: А потом, позже?

Р. (рассмеялась): А потом — как табуретка! Как столбик лавочный!.. Коготки такие были — чтобы вся хвоя ими сграблена была, да и сожгана. Эти коготки наподобие грабелок были — когда жгёшь, всё сучьё обсекаешь. И так вот дорожку-то пройдешь, прочистишь, так еще этим коготком поелозишь, чтобы ничего на земле не было. Чтобы чистота была, как у себя во дворе. А сейчас пойдешь, посмотришь — эх, не зря люди говорят, что невозможно в лесу сесть оправиться, весь зад расцарапаешь» (Архангельская область, Пинежский район, деревня Кобелево).

Вот выборка записей, сделанных в различных регионах сельской России. Они выразительно характеризуют набор, по существу, антиэкологических действий в отношении лесных ресурсов — действий, определяющих в целом потребительское, не задумывающееся о возможных перспективах, хозяйственное настроение колхозных времен. И даже отдельные усилия, направленные на обеспечение заботы о лесных ресурсах территорий, выразительно оттеняют в основном безжалостный, варварский характер типичных лесохозяйственных практик.

«Ухудшение положения с лесом началось в послевоенные годы, когда столетние дубы были выпилены военнопленными и вывезены. Позднее лес добывали вывозом стволов на тракторах. Таким манером безжалостно уродовали лесной подрост, создавали искусственные просеки. Сейчас ухода за лесом вообще никакого нет. Но до войны и в короткое время в 1950-е годы всё население, все дворы участвовали в уходе. Лесник ежегодно приглашал колхозников на так называемую “чистку чащобы”. Одновременно лес делили по крестьянским дворам. При дележке каждому доставалось от 15 до 25 стволов спелой древесины, которая срубалась и вывозилась зимой — именно зимой, чтобы не уродовать почву, траву, кустарник — на лошадах. По одному, два бревна, а не целый ворох, как на тракторе. На очищенных полянах систематически подсаживались дубы, причем посадка шла вручную — что лучше и эффективней машинной. Ухудшение ситуации с лесом началось также из-за ликвидации большого самостоятельного лесхоза в селе» (Саратовская область, Новобурааский район, село Тепловка).

«С 1930-х годов начинается второй период, когда образовались колхозы и леспромхозы. Сельскохозяйственная и лесозаготовительная функции разделяются организационно и меняют свой характер. Объёмы лесозаготовок меняются: они планируются государством и увеличиваются. Сплав леса производится не плотами, а моём. Реки поэтому постепенно засоряются топляком. А расхождение между вырубкой и приростом леса стало началом “облысения” тайги в этих местах. Сельское хозяйство ведётся новыми организационными методами, но на старой тягловой силе — лошадях, поэтому здесь ещё нет признаков резкого изменения характера взаимоотношений человека и природы. Колхозы также используют поскотину, поля все огорожены, сенокосы тоже. Культура агротехники повышается. Сено заготавливается на дальних сенокосах. Хотя и в рамках колхоза, но взаимоотношения с природой идут в русле старых традиций. Основным удобрением для полей остается навоз, так как скота содержится в достаточном количестве, а завод удобрений затруднен. В то же время организуется рыбзавод на Пинеге, где разводят семгу. В 1950-х годах вводится рыбнадзор, который контролирует вылов семги» (Архангельская область, Пинежский район, деревня Кобелево, дневниковая запись).

«Лес меняли на корма, продавали на стройматериалы или просто за деньги. Местное и районное начальство вплоть до середины 1950-х годов рубило все, что хотело, — по своему желанию. Привычка к этому сформировалась, по мнению респондентов, в военные годы, в прифронтовой полосе здесь постоянного населения практически не было, и из города приезжали на лесозаготовки чужие, посторонние люди. В 1950-х годах, когда опасность такого бесконтрольного хозяйничанья чужих стала очевидной, была усилена власть лесничества. Ему передали и большую часть совхозного леса» (Тверская область, Осташковский район, деревня Сиговка, дневниковая запись).

Характерно, что в крестьянских суждениях явственно прослеживается разница между хозяйственно-экологическим поведением разного рода институций (колхоза, лесхоза, заготконтор, представителей военной промышленности и т. п.) и собственно субъектов, представляющих отдельные семейные домохозяйства, то есть — просто местное население. Упоминания об устойчивых, воспитанных еще в годы единоличных хозяйственных практик, исторических привычках повседневной заботы о сохранности леса — привычках, выработанных в ходе взаимодействия волостных и уездных властей с крестьянским народом, постоянно фигурируют в дискурсивной ткани крестьянских повествований. Это — важное свидетельство определенной оформленности настроения нынешнего сельского мира, горестно, но, по сути, безучастно наблюдающего прогрессирующее оскудение лесных угодий.

Достаточно часто и охотно крестьяне рассказывают о воде — реках, прудах, родниках, колодцах, а также о технологических и производственных возможностях, даваемых окрестной водой.

«В 1940-е годы рыбы было много. Ловили и на Сиге, и на Селигере. Продавали на санях по всей округе, даже в Селижарове. Ели сами много. Готовили на зиму по две-три бочки соленой рыбы. Тогда разрешали ловить вдоль озера, косили тресту, все берега были чистые. Коров загоняли в воду, и они всю осоку съедали» (Тверская область, Осташковский район, деревня Сиговка).

Приведем еще фрагмент, в котором обобщены крестьянские воспоминания об изменениях в пространственном облике сельских поселений, — изменениях, связанных с эволюцией колхоза как основной производственно-экономической и одновременно экологической институции села, деревни, хутора.

«После коллективизации количество жилых домов сократилось. В довоенном колхозе животноводческие помещения находились еще внутри деревни. Позднее фермы и свинарники были перенесены на южную оконечность села. Именно тогда началось интенсивное загрязнение стоками с ферм. Давление сверху, приказы, почины и компании взламывали краснореченское социальное пространство. Тогда же пахотный клин начинает увеличиваться — удаляться от селитбы до 15 км, а вся окружающая хутор территория отдается под сенокосы и пастбища» (Саратовская область, Новобурасский район, деревня Красная речка, полевой дневник).

Экологическая проблематика сельских сообществ времен позднеколхозного периода (1960–1990-е годы)

Мы могли видеть — и на основе собственных наблюдений, и из крестьянских мнений и оценок — что если в предыдущие десятилетия (1930–1960-е годы) были заложены важнейшие предпосылки затронувшего многие стороны сельской повседневности экологического кризиса — идеологическая и организационно-хозяйственная, то уже с начала 1960-х годов к ним добавились еще и поистине безграничные технические возможности для претворения в жизнь самых смелых планов «покорения природы». И уже буквально через считанные годы последствия такой политики проявили себя в полной мере. Всю местную экологическую политику стали определять руководители сельскохозяйственных производств и специализированных служб. В своей работе они руководствовались собственным идеалом культурного сельского ландшафта — упрощенным, однобоким и, как правило, предельно примитивным. Основными его элементами должны были стать некие препарированные, специально

подготовленные чуть ли не для механическо-индустриального потребления природные комплексы и ресурсы. Вместе с увеличением числа ведомств, которые могли распоряжаться природными ресурсами (в этот период отечественной истории к ним добавились военные, строители, связисты, энергетики, транспортники, газовики, нефтяники, агрохимики), и отсутствием каких-либо юридических ограничений у всех этих организаций, как правило, устроенных по военному образцу с единоначалием и беспрекословным подчинением сверху донизу, появились мощные рычаги воздействия на природу, которые решительно превзошли все, что было известно ранее.

Продолжающаяся быстрыми темпами депопуляция сел, особенно северных и нечерноземных, вызвала всеобщее запустение, прекращение всякого надзора за природой, уменьшение площади пашни и вообще всех сельскохозяйственных угодий, одичание природы и уменьшение освоенности территории. Если принять во внимание, что поселение и опоясывающая его территория обнаруживают в своей организации некие животворные по своему существу «социально-экологические годовые кольца» — следы исторически различных способов хозяйствования, то в описываемые десятилетия они сжимаются, упрощаются, сводятся на нет.

Культ индустриализма, сопутствовавший советскому государству с первых лет его основания, породил настойчивые попытки внедрить индустриальные принципы организации в сельскохозяйственное производство. В селе появились огромные животноводческие комплексы, сбрасывающие стоки, как средний по размерам поселок, а также довольно уродливые сельские агрогородки, вобравшие в себя все недостатки городского жизненного пространства и не организовавшего ни одного из позитивных черт и достоинств городской жизни. Крестьяне не могли справиться с этой неуправляемой, идущей от бюрократических институтов, зловещей стихией. Старые, испытанные в традиционных сельских мирах способы защиты собственных, частных интересов были основательно забыты, а порой законодательно упразднены, да и сами сельские общины стремительно стратифицировались уже по иным, чем прежде, основаниям. Сельские общества последней трети XX века оказались разделенными на местных и приезжих, сельскую технологическую и управленческую элиту и рядовых колхозников, старых и молодых селян, недавних горожан и дачников. Все они явились носителями различных представлений о территории проживания, демонстрировали и культивировали спектры несовпадающих и часто противоречащих общему укладу потребности. Представления о моральности тех или иных способов природопользования также начали заметно различаться. В этих условиях сельские сообщества не были внутренне ориентированными на согласованные действия по поддержанию исправного состояния экологической и жизненной среды. Они не стремились овладеть ситуацией, или им не удавалась

выработать единую согласованную политику и взять под контроль свою территорию, ориентируюсь хотя бы на известную старожилам практику начала XX века.

Наши вопросы, касающиеся успешных примеров такого восстановления каких бы то ни было позитивных экологических традиций, задаваемые крестьянам разных возрастов и профессий, ни в одном из обследованных сел не получили позитивных, обнадеживающих ответов. Вот ряд примеров, извлеченных из тех крестьянских нарративов, где обсуждаются конкретные детали деградации прежде достаточно исправной социально-экологической и производственно-экономической среды повседневной жизнедеятельности сельчан:

«Последние 20–25 лет с местными деревенскими речками беда — Соколка и Лошок превратились в пересыхающие летней порой ручейки, систематически отравляемые выбросными стоками с животноводческих комплексов и коттеджей Нового поселка. В конце 1950-х в речках совершенно исчезла рыба. Заилились родники по берегам двух рек. Не стало источников поверхностной чистой питьевой воды. Последние 10–15 лет питьевую воду получают из двух артезианских скважин, в жаркий период воды не хватает — она вся идет на полив (Саратовская область, Новобурацкий район, село Лох, дневниковая запись).

«В окрестностях села Городня леса находятся в водоохранной зоне, и рубки там запрещены. Их периодически чистят и подсаживают. Но в лесах очень много стало грибников и охотников до лесных ягод. Много приезжают из Твери, Редкино, Москвы. Появляются дикие лагеря отдыхающих по 40–50 палаток, которые выгребают из леса все в радиусе 2–3 километров. Из Твери приходят суда с отдыхающими и пристают к берегу на полдня. Толпы этих так называемых “туристов выходного дня” за это время тоже успевают все выбрать подчистую. Не отстают от них отдыхающие турбазы “Верхневолжская” и дома отдыха “Игуменка”» (Тверская область, Конаковский район, деревня Городня, дневниковая запись).

«Когда качество воды стало ухудшаться, а речка — зарастать, мелиораторы чистили ее машинами, срезали камыши, углубляли дно какой-то землечерпалкой на гусеницах, так что мертвую рыбу выбрасывало прямо на берег. Но это только привело к тому, что перекопали все заводи, где раньше было много рыбы, а качество воды продолжало ухудшаться. Если рыба до сих пор еще кое-какая есть, то это потому, что она спускается с верховьев речек, впадающих в озеро с запада. Рыбоохраны в районе нет, этим занимается милиция».

«Раньше рыбу ловили бродцом и курицей — это такие сети на ручьях. Они были во всю речку шириной. Но никто это за бра-

коньерство не считал. А потом, недавно, начали бить рыбу электричеством, ну, током. Вот, линия электропередач идет от Угрюмой Горы в Лунино прямо через наше озеро. А там есть островок, где можно было поставить столб, чтобы по нему подниматься к проводам. И кроме того, еще столбы стоят — прямо в воде. И вот местные мужики приспособились снимать ток прямо с проводов в озеро. Так много рыбы побил током».

«Сейчас рыбу “лучат” не с проводов, а ездят по озеру с аккумуляторами. Рыбу — и крупную, и мелочь — приманивают ночью светом мощного фонаря и включают ток — прямо в воду. Так ведь безопасней, чем с проводами возиться, и можно в любом месте так делать» (Тверская область, Лесной район, деревня Свищево).

Последняя цитата, кроме всего прочего, оправдывает нововведение соображениями безопасности, что свидетельствует о постепенном укоренении в сознании сельчан принципиальной допустимости подобного рода браконьерских действий. И это, на наш взгляд, наиболее тревожное последствие общего пренебрежительного настроения в отношении с природой. Экологическая безучастность и одичание всё глубже укореняются в сознании людей, причем самоубийственность такого рода действий никак не рефлексировалась.

В регионе Нечерноземья сначала с воодушевлением, а потом весьма болезненно были восприняты государственные программы мелиоративных работ. До конца непонятно, с чем связана такая оценка местных жителей, однако очевидные технологические несообразности в такого рода мероприятиях стали (с накопленным опытом наблюдения) для сельчан очевидными, поскольку они располагали возможностью сравнить прошлую и вновь созданную экологическую ситуацию — причем даже в самых незначительных мелочах.

«В 1970-е годы мелиораторы почему-то решили осушить болотистые низины возле озера. Зачем было осушать — непонятно. Сено и так было хорошим, а пахать низины всё равно нельзя. Наши отцы так никогда не делали. Но эти приезжие мелиораторы выкопали несколько каналов, а из ручьев тоже сделали канавы. И получилось так, что совсем уничтожили приток Кремницы — речку Обретёнку. Теперь там всё заросло и стало непонятно что. А на более сухих полях они, наоборот, ложили дренажи, корчевали и засыпали ручьи. Зачем это?» (Тверская область, Лесной район, деревня Свищево).

Вообще говоря, чем дальше разворачивается история колхозных технологических порядков, тем больше удаляются от земли и от практик ее традиционной обработки руководители сельскохозяйственных предприятий. Рассказывая об этом, наши сельские

информанты почти всегда в своих взволнованных повествованиях перебрасывались на смежные с проблемами ухода за землей и обработки пашни неурядицы экологической обстановки в деревне последней трети XX века.

«Тут у нас севооборота никакого, одно и то же сеют на полях по несколько лет. Изгороди почти отсутствуют. Коровы вылазят прямо на сенокосных полях. Пастухи носятся за ними на мотоциклах и лошадях. Коровы стельные, на сносях пасутся вместе с остальными. Если у коровы случится выкидыш, то мертворожденный теленок валяется на лугу, в лучшем случае его спихнут в озеро.

Опушка леса за деревней превратилась в стихийную свалку. Мусор вывозить на общественную свалку нечем, а общественного транспорта нет. Лесные уголья значительно оскудели. Если по поводу морошки существует поговорка: “пойдешь за морошкой, протянешь ножки”, то сейчас она применима к любой ягоде, потому что количество их невелико. Не всякая хозяйка и семья успеет их насобирать. То же и в отношении грибов. К такому оскудению привел и тот факт, что построенная железная дорога Архангельск — Карпогоры вызывает летом и осенью буквально паломничество охотников за ягодой и грибами из Архангельска и Северодвинска. Здесь есть даже особый вид рюкзака, его называют “кан”. Это промышленно изготовленная легкая, удобная, дюралевая емкость, которую можно носить на лямках за спиной, в ней грибы и ягоды не мнутся. Да и на этот самый “кан” можно сесть, как на стул» (Архангельская область, Пинежский район, деревня Кобелево).

Таким образом, последняя треть двадцатого столетия обернулась историческим временем, когда поистине коренные, часто просто непоправимые перемены произошли в базовых элементах пространства крестьянской жизнедеятельности. Экологическая обстановка стала не только непривычной, но и поистине чужой, заставляющей менять традиционно устойчивые производственно-экономические технологии крестьянских домохозяйств. Рассказы крестьян звучат всё более тревожно, так как экологическая обстановка становится такой, что все больше угнетает население.

«Естественных лесов теперь почти нет. К северо-востоку в балке есть небольшой участок леса, есть участки лесопосадок. Но даже там не было санитарных рубок. К тому же в окрестностях хутора отсутствует организованная и специально оборудованная свалка мусора и навоза. Навоз сваливают в Березовку техникой — у колхоза “нахальства хватает”. “Хозяев сейчас нету. Нету и всё тут! Раз уж сделали — так сделайте в одном месте.

А то ведь и от свиней, и от коров, и мусор, и шифер битый — всё гуртом сваливают. Всю балку уже заполнили. И сыпали бы в одну кучу. Травку последнюю засыпаете. Последующие — рядом валят, и свалка расплзается. Перегной, наоборот, поедает траву, ей не пробиться. От садов остались садики, у домов растет по несколько деревьев» (Волгоградская область, Даниловский район, хутор Атамановка, дневниковая запись).

«Сейчас дно реки Юг, которую раньше чистили судном-“грязнухой” даже от камней, устилает топляк, на несколько метров. Вода сейчас часто стоит зеленая — не только от гниения леса, но и от навоза. Он спускается с ферм от коров, которые все лето стоят в речке. Зайдут и стоят. Пьют и прямо в реку гадят. Раньше-то их хозяева и близко к реке не подпускали — понимали, что такое есть чистая вода! В Кичменгском городке канализация из больницы идет прямо в реку, из сельхозтехники все отходы тоже идут в реку. В реке не стало раков. Была рыба — судак, стерлядь, пельма. Сейчас судак в реку не заходит. Стерлядь и пельму ловят нечаянно. Воду для питья из реки теперь не берут.

Сейчас на месте бывших сенокосов и пастбищ растет лес и кустарник. Все поля оказались запущенными. Теперь здесь очень мало засевают. Мелиораторы приложили руку — все перекопано, до конца не доведено. Там, где проводили мелиорацию, остались одни овраги, растет только дудник, который скот не ест. Да ольха поперла, как армия. Поле напротив Ивановщины, под коренным берегом реки, — его распахали под рожь. Зачем такая дурость — ведь почти каждый год вода здесь всё заливают. Раньше там заготавливали по 200 центнеров отличного заливного сена, хоть сам ешь, такая красота для коровок. А теперь — ни туда, ни сюда. Так и начинается эрозия почв. Да что там эрозия — так жизнь прежняя уходит навсегда» (Вологодская область, Кич-Городецкий район, село Леонтьевщина).

«Техники много, солярку везде разливают. Комбайны и трактора мыли в реке. С фермы вся навозная жижа течет в озеро. Ферма не обвалована. Озера пересохли, над ними стоит дымка» (Алтайский край, Завьяловский район, деревня Александровка).

В подобных записях и крестьянских нарративах обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Если раньше, рассказывая о раннеколхозных (и особенно — единоличных) хозяйственных практиках, крестьяне постоянно упоминали о действиях отдельных крестьянских дворов, хозяйств, рассказывали о различных неформальных социально-экологических акциях, направленных и на эксплуатацию, и на «ремонт» окружающей среды, на поддержание ей исправного состояния, то уже в последней трети века семей-

ные домохозяйства исчезают из информационного пространства. И, наоборот, на первый план — деструктивно, грубо, прямо-таки по-варварски — выдвигаются разного рода региональные производственно-хозяйственные институты (колхозы, совхозы, леспромхозы, заготконторы, мелиоративные отряды и т. п.).

«Рыбы уничтожено много. Завели карпа, за ним стали приезжать из города, и не с удочкой — со взрывчаткой. Резко ухудшилось качество воды. В верховьях реку Иню загрязняют угольные шахты, Беловская ГРЭС, городские и коммунальные стоки Кузбасса. Вода Ини — очень грязная. Сбрасывают отходы животноводческие фермы, идет распашка в пределах водоохранной зоны. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения, а они используются для водоснабжения».

«С лесами — сердце разрывается. Это прям свержварварство. Сейчас — как Мамай прошел, не живем, а отживаем. Что наши внуки увидят?»

«Площадь кормовых угодий уменьшается, а поголовье общественного и личного скота растет. Животноводческие фермы экологически опасны. Нет стационарного навозохранилища, нет площадок для компостирования навоза, отсутствуют приспособления для его нормального функционирования. Нет систем биологической очистки. Фермы располагаются на возвышенных местах, на берегах рек, озер, прудов. Водопой нуждаются в дополнительном обводнении. Они размещены в 200 метрах от уреза воды. Скотные дворы вовремя не ремонтируются, каналы полны навозной жижей. Колодцы чистили лишь один раз за 15 лет. Дачи городские совсем пастбища заполнили, всё живое, природное вытеснили» (Новосибирская область, Новосибирский район, село Плотниково).

Как можно видеть, никакой разницы, даже в такой мелкой детали, как прудовое и лесное локальное хозяйство, не наблюдается. Это понятно — государственная и региональная политика того времени не принимала в расчет какие бы то ни было соображения, диктуемые необходимостью сбережения природы. Та довольно продолжительная эпоха, 30–40 лет — время если не варварского, насильственного покорения, то уже точно радикальной переделки экологической среды.

В исследовательских материалах представлена попытка документального описания, построенного, во-первых, на включенных визуальных наблюдениях самих социологов, выезжавших в экспедиции, и, во-вторых, на свидетельствах непосредственных очевидцев, местных жителей, имеющих опыт неоднократного, буквально многолетнего наблюдения за деградацией экологической среды. В этих материалах в качестве доминанты проходит эмпирическое

обобщение, суть которого такова — местные природные базовые комплексы (лес, вода, земля) угнетались прежде всего при активном участии различных государственных институций, приуроченных к различным министерствам и ведомствам. Отсюда — несогласованность и хаотичность производственно-экономических акций, не предполагающих тщательной заботы об их отрицательных экологических последствиях.

«Вот особенно сейчас: называют, например, санитарная рубка. Это что, по-настоящему-то? Больные деревья, сухостой, аккуратно распиливать и вынести. А сейчас что делается?! Это кошмар и ужас! Санитарную рубку проведут так, что туда не только пешком, но и на тракторе не проедешь. От кого это зависит? Да от начальства, от кого же еще? Потому что ничье стало всё, нет никакого хозяина. Вернее, много хозяев, каждый начальник — хозяин. А что начальники? Для них план — главное. Нарубить, например, столько-то кубометров. Нарубили и отчитались, а вывезли его или нет, дошел ли он до дела, попал ли на лесопилку, деревокомбинат — это уже их вовсе не касается. И лес сплошным рубят. Раньше-то — тогда были клинья: какое дерево срубить, какое оставить, выборочная была рубка. Лес выбирал лесник из лесхоза. Ходил и метил деревья, с толком. Следили за лесом, выделяли леспромхозу участки. Там клеймили деревья с хорошими шишками, чтобы был самосев. Сейчас все рубят полностью, и растет только ольха. Лес вывозят так, как будто нам самим его ничуть не надо. Его меняют в Осетии на комбикорм, а ведь этот комбикорм и здесь можно точно такой же сделать. Сейчас лес не сажают. Раньше были заборы вокруг лесосеки и питомников, в лесхозе были специальные люди с техникой, которые этим занимались. Сейчас уничтожают остатки» (Тверская область, Конаковский район, деревня Городня).

«Водные ресурсы сильно запущены. В 1950-е годы на плотине стояла мельница. У нее были шлюзы, регулировавшие воду в плотине. Это были щиты на цепях и плюс бревно с качалкой, как в хорошем колодце. Мельник сам смотрел за уровнем, берег воду. После молотыбы закрывал шлюзы, а в дожди и весной — наоборот, открывал. Вода перекрывалась и у озера Сига. Еще в 1950-е годы плотину чистили — закрывали лоток у Сига, открывали под плотинной, и вода вся уходила. Все дно аккуратно чистили. Сейчас это не делают, озеро превращается в болото, зарастает тиной и водорослями. Озеро мелеет, вода более теплая, водоросли растут еще сильнее».

«На берегу совхоз раньше держал уток. Они поедали всю осоку и траву. Большие клетки стояли на самом берегу озера. Но рыбы все равно хватало. Рыбаки ловили, прямо стоя на клетках. До 1960-х

годов рыбу ловили даже сетями, но она не переводилась. Потом стали заготавливать электротралом. Это страшная вещь, уничтожает все подчистую. Оставляли только крупную рыбу, а мелочь выбрасывали» (Тверская область, Осташковский район, деревня Сиговка).

Основные проблемы всех без исключения сельских регионов России, обследованных с точки зрения их экологического состояния, связаны с землей как основным производящим ресурсом сельских миров.

«Земли сейчас у нас очень сильно заражены. Появился колорадский жук, нематода. Даже морковь, требующую частой прополки, посеяли в Спицыно. Там ее полоть как надо никто не будет, далеко ездить, но у Сиговки почти вся пашня “заражена просом”. Раньше обработка земли была очень тщательной. Землю на грядах утрамбовывали специальной широкой трамбовкой. Бок у грядки становился поэтому плотным и не обрастает сорняками. Корни у сорняков далеко не проникают, и он не развивается. А сейчас много сорняков — потому что кормят скот комбикормом, зерна остаются в навозе, а он не лежит 3–4 года, как это и положено, а сразу везется на поля».

Минеральные удобрения впервые появились в совхозе после войны. Многие и раньше считали, что от них только вред, но тогда приказывали — съезь без разговоров. Требовали большие урожаи, об экологии вообще не думали, о всяких там нитратах тоже — пусть вредно, лишь бы много. Но урожаи не увеличились, “только землю испортили”. Примерно с 1965 года в совхозе стали снова использовать навоз, урожаи повысились. В 1990-х годах весь Осташковский район перешел на эти привычные органические удобрения, так как стал официально считаться курортной или рекреационной зоной. Но минеральные удобрения по-прежнему заставляли брать. В Сиговке их не применяли, если завозили, то чаще в кучу сваливали — дожди эти кучи размывали и все это добро сплошняком несли в озеро» (Тверская область, Осташковский район, деревня Сиговка).

Такова обобщенная картина, характеризующая социально-экологическую ситуацию в ряде ключевых регионов сельской России. В чем ее специфичность? Появились ли моменты новизны по сравнению с временами ранних и уже вставших на прочные ноги колхозов? Представляется, что специфика ситуации может быть выражена одним словом — «притерпелись». Сельское население, хотя и горестно переживает за заметно покалеченную среду обитания, привыкло переносить эти неудобства со стоическим терпением. Отсюда — и некоторая эпичность интонаций наших рассказчиков.

Отсюда и достаточно спокойные перечислительные конструкции в устных повестях о местной природе. И главное — население приняло как неизбежность хозяйственно-экономический произвол различных организаций, пришедших в деревню в 1960–1970-х годах и продолжавших там оставаться до конца 1990-х годов.

Библиография

- Ахиезер А.С. (1990). Экологические проблемы на Съезде народных депутатов СССР (май–июнь 1989). М.
- Веклич О.А. (2004). Эколого-экономические противоречия. О некоторых вопросах моделирования экономических процессов с учетом экологических проблем // Вестник МГУ. № 3.
- Докторов Б., Сафронов В. (1990). Экологическое сознание, социальная коммуникация и ситуация в обществе: закономерности связи и развития // Разработка научных основ изучения и формирования экологического сознания населения страны. Ч. I / Отв. ред. Б. Фирсов. М.
- Креймер М.А. (2013). Эрнст Геккель и экология // Вестник СГГА. № 4 (24). С. 126–142. URL: <http://econf.rae.ru/pdf/2014/02/3177.pdf> (дата обращения: 14.07.2018).
- Моисеев Н.Н. (1982). Человек, среда, общество. Проблемы формализованного описания. М.: Наука.
- Торопов Д.И., Соколова И.С. (2010). Малое предпринимательство: сельский аспект // АПК: экономика, управление. № 2.
- Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин А.В. (2000). Сельскохозяйственная экология. М.: Колос.
- Хильми Г.Ф. (1975). Уроки биосферы // Методологические аспекты исследования биосферы / Ред. И. Новик, Г. Хильми, А. Шаталов. М.
- Шанин Т. (1998). Идея прогресса // Вопросы философии. № 8. С. 33–37.
- Шубин А. (1992). Экологическое движение в СССР и вышедших из него странах // Экологические организации на территории бывшего СССР. М.
- Яницкий О. (1978). Взаимодействие человека и биосферы как предмет социологического исследования // Социологические исследования. № 3.
- Н εκκλήσις λεξικό (Церковный словарь Назаренко) (2013). Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://church_el_ru.academic.ru/1348/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82 (дата обращения: 02.08.2018).
- Haeckel E. (1866). *Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanische Begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie.* Vol. II: Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen. Berlin: G. Reimer.
- Egerton F. (2013). History of Ecological Sciences, Part 47: Ernst Haeckel's Ecology. Bulletin of the Ecological Society of America. Vol. 94. Issue 3. P. 222–244. URL: <https://doi.org/10.1890/0012-9623-94.3.222> (дата обращения: 06.08.2018).

Ecology of the rural world in the perception of peasants

Valery G. Vinogradsky, DSc (Philosophy), Senior Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: vgrape47@yandex.ru.

Olga Ya. Vinogradskaya, Senior Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: vgrape58@yandex.ru.

The article considers environmental issues in rural areas of some Russian regions throughout the last century. The distinctive feature of this research is that the ecological history of rural areas is reconstructed through the reflections of peasants that are constantly involved and acting in the rural everyday life. The authors analyze a large number of narratives collected in the sociological expeditions during the last 25 years, and suggest to consider the environmental issues in rural areas in different historical periods not only as a continuous search of the societies for their place “in the family of nature” but also as a gradual enclosure of societies from nature. The authors divide the ecological history of Russian rural areas in the last century — early 21st century into four periods approximately equal in duration: “old” or “communal-individual” period (1929–1934); “new” or “collective-farm and state-farm” — from the beginning of collectivization to the late 1950s — early 1960s; “mature” or “late-collective-farm” — from the early 1960s to the early 1990s; “the newest” or “farmer-agroholding” — from the agrarian reforms of the 1990s–2000-s to the present time. The article presents a general picture of the social-environmental situation in a number of key regions of rural Russia during the first three periods. The authors believe that “the newest” or “farmer-agroholding” period in the ecological history of Russian villages needs a special study due to the radical changes determined by it.

Key words: rural ecology, rural world, environmental issues, rural areas, economic practices of peasant households, environmental institutions, environmental behavior, local ecosystem.

References

- Akhiezer A.S. (1990) *Ekologicheskie problemy na s'ezde narodnykh deputatov SSSR (maj-iyun 1989)* [Environmental Issues at the Congress of People's Deputies of the USSR (May–June, 1989)], Moscow.
- Doktorov B., Safronov V. (1990) *Ekologicheskoe soznanie, socialnaya kommunikatsiya i situatsiya v obshchestve: zakonomernosti svyazi i razvitiya* [Ecological awareness, social communication and social situation : Patterns of interconnection and development]. *Razrabotka nauchnykh osnov izucheniya i formirovaniya ekologicheskogo soznaniya naseleniya strany*. Ch. I. Otv. red. B. Firsov, Moscow.
- Egerton F. (2013) History of ecological sciences, part 47: Ernst Haeckel's ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America*, vol. 94, no 3, pp. 222–244.
- Haeckel E. (1866) *Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanische Begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie*. V. II: *Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen*, Berlin: G. Reimer.
- Khilmi G.F. (1975) *Uroki biosfery* [Biosphere lessons]. *Metodologicheskie aspekty issledovaniya biosfery*. Red. I. Novik, G. Khilmi, A. Shatalov), Moscow.
- Kreymer M.A. (2013) Ernst Haeckel i ekologiya [Ernst Haeckel and ecology] *Vestnik SGGA*, no 4, pp. 126–142.
- Moiseev Kh.Kh. (1982) *Chelovek, sreda, obshchestvo. Problemy formalizovannogo opisaniya* [Man, Environment, Society. Challenges of Formal Description], Moscow: Nauka.
- Shanin T. (1998) *Ideya progressa* [An idea of progress]. *Voprosy Filosofii*, no 8, pp. 33–37.
- Shubin A. (1992) *Ekologicheskoe dvizhenie v SSSR i vyshedshih iz nego stranah* [Environmental movement in the USSR and the countries that emerged from it]. *Ekologicheskie organizatsii na territorii byvshego SSSR*, Moscow.
- Toropov D.I., Sokolova I.S. (2010) *Maloe predprinimatelstvo: selsky aspekt* [Small entrepreneurship: A rural aspect]. *APK: Ekonomika, Upravlenie*, no 2.
- Urazaev N.A., Vakulin A.A., Nikitin A.V. (2000) *Selskohozyajstvennaya ekologiya* [Agricultural Ecology], Moscow: Kolos.

- Veklich O.A. (2004) Ekologo-ekonomicheskie protivorechiya. O nekotoryh voprosah modelirovaniya ekonomicheskikh processov s uchetom ekologicheskikh problem [Environmental-economic contradictions. On some questions in the modelling of economic processes taking into account environmental issues]. *Vestnik MGU*, no 3.
- Yanitsky O. (1978) Vzaimodejstvie cheloveka i biosfery kak predmet sociologicheskogo issledovaniya [Interaction of man and biosphere as an object of sociological research]. *Sociologicheskie Issledovaniya*, no 3.
- Ἡ ἐκκλησία λέξιλόγιο (Tserkovny slovar) [Church Dictionary] (2013). URL: https://church_el_ru.academic.ru/1348/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82.

*В.Г. Виноградский,
О.Я. Виноградская*
Экология сельского
мира глазами
крестьян

Автоэтнография деревенского дома Русского Севера

Д.М. Рогозин, Е.В. Вьюговская

Дмитрий Михайлович Рогозин, кандидат социологических наук, заведующий лабораторией социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ. 119034, Москва, Пречистенская наб., 1. E-mail: nizgor@gmail.com

Елена Васильевна Вьюговская, научный сотрудник лаборатории социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ. 119034, Москва, Пречистенская наб., 1. E-mail: vyugovskaya-ev@gaopera.ru.

В статье посредством этнографического «слабого» письма раскрывается концепт дома русской северной деревни, его архетипичность в контексте традиционного деревенского жизненного уклада. Этнографическое письмо — это, во-первых, интроспекция личных чувств и впечатлений, во-вторых, агрегирование частных переживаний и размышлений в единую историю, в-третьих, усиление личных историй отрывками аутентичной прямой речи и экспрессивными языковыми средствами, далеко не для того, чтобы продемонстрировать авторскую велеречивость, но позволить эмоциям проявить себя в словах и выражениях. Материалом послужили разговоры и наблюдения в деревне Синики Устьянского района Архангельской области, в которых обсуждалось устройство домов информантов, их облик, история возведения и соотнесенность с историей семей. Авторы показывают, что особенности старинного северного дома заключаются не только в специфике архитектурных форм, организации жилого пространства (избы) и хозяйственных помещений (пристроев). Они нераздельно связаны с его хозяевами, их биографиями и судьбами, являются отражением культурной самобытности, семейных ценностей, родовой памяти, межпоколенческих связей его обитателей. Внутреннее устройство, определявшееся прежде всего природными условиями, хозяйственными и промысловыми нуждами, прагматикой повседневности, позволяет выделить четыре типа северных деревенских домов: избу, пятистенок, безымянное жилье и двухквартирник. Последние два типа представляют собой позднюю застройку, характеризующуюся повышенной комфортностью и компактностью, и как следствие — утратой былого значения широких хозяйственных многофункциональных пространств. Формирование новых форм хозяйствования, переосмысление места жизни, преобразование дома

В основу данной работы легли разговоры и этнографические интервью с жителями деревни Синики Устьянского района Архангельской области, проведенные в рамках инициативного проекта «Вместе 1000 лет» полевыми интервьюерами Дмитрием Рогозиным и Еленой Вьюговской в декабре 2017 года. Респондентами выступили мужчины и женщины преимущественно старшего возраста (72+ лет), многие из них родились в деревне и провели здесь большую часть своей жизни.

под современного сельского жителя (чаще всего старика) есть основа ревитализации деревни.

Ключевые слова: автоэтнография, включенное наблюдение, деревенский дом, ревитализация села, слабое описание, сельский уклад

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-98-122

Я временный, мой отец был временный, дети тоже будут временные. Но сама-то Русь стоит уже тысячу лет, она же не временная. Почему бы нам тоже хоть что-то не оставлять в наследство? Да и сам я, пусть временный, хочу и для себя маленько пожить. В меру совести, конечно. И в своем, желательно, доме. Альфред Петрович смеялся и хвалил меня, но сказал, что главное наследство дух, а не дом или имущество. Я сказал, что если дома не будет, то и духу ютиться негде.

*Алексей Слаповский.
«Неизвестность»*

Пролог

Дорога к тебе была долгой. Четыре года сомнений, вопросов, предубеждений, но всегда возвращения к главной мысли — ехать. Несмотря ни на что. И теперь отправились в путь, невзирая на снежный декабрь, опасный не морозами, а обманчивой оттепелью. Отправились, несмотря на твою удаленность от цивилизации, к благам которой так привыкли, которые ты упорно не хочешь признавать и осваивать, разве только частично. Отправились вопреки суровому, холодному, как твои зимы, и чарующему, как тетеревиный ток, нраву твоих обитателей. Многие из них ушли, а вместе с ними — нерассказанные, незаписанные, непрочтенные другими, важнее всех, детьми и внуками, истории — частные летописи, сплетенные друг с другом в одну большую, сложную хронику твоей жизни. Медвежий угол, глухомань, край света. Русский Север, таежная сказка, родная земля.

Запомнила его высоким, статным, выделявшимся на фоне других «собратьев», пусть и в годах, но все еще исполненным какой-то неведомой жизненной силы. А теперь увидела заметно состарившимся, ссутулившимся, а главное, одиноким, брошенным, «болезненным». Ведь не забыли же, приехали, навестили, а распалиться все равно не спешил. Словно чувствовал, что ненадолго, что вскоре оставят и придется вновь остывать под холодными зимними ветрами. Не обижайся, старче, ты все равно был, есть и будешь главнейшим членом семьи. Ты — ее основатель. Молчаливый хранитель ее традиций и тайн. Деревенский дом.

Деревенский дом. Сруб-пятистенник, развернувшийся во все стороны дворовыми постройками, туалетным чуланом, кладовыми,

закромами для зерна и мяса, крошечной чердачной комнаткой для подростковых вечеров. Дом как двор: с переходами, балками, покосившимися, осевшими, вдавленными в землю порогами, пространством для неспешных прогулок. Фонарь выхватывает старые, проржавелые косы. Ровно пять, и еще одна сломанная на полу — большая семья, трудовая жизнь. Все в прошлом. Василий, отец Лены, крепкий мужчина средних лет, улыбается воспоминаниям, с удовольствием рассказывает, поясняет, отвечает на вопросы. Дом открыт для гостя, внешнего взгляда, вопросов. Через воспоминания, старые вещи, забытые сундуки с журналами, голосом своего жильца, когда-то ребенка, дом рассказывает о деревенской жизни.

Приехали узнать о деревенском доме от первого лица, без академической отстраненности, объективированной позы, ученой назидательности. Лена никогда не жила здесь подолгу. Это дом отца, его детства, деревенских мечтаний, труда и забав. Лена здесь не чужая, но и не своя. Деловито сметает снег с крыльца, тщательно обметает валенки: «Осторожно, здесь низкий косяк, осел проход». Она знает много: капризы печи, покосившуюся дровницу, нехитрый набор кастрюль, тюлевые занавески и выцветшие картинки из журналов. Лена чаще отвечает, чем спрашивает. Отвечает своим чувствам, растворенным в предметах дома воспоминаниям или моим вопросам. Разговоры с Леной, Василием, их соседями — основание наших этнографических размышлений.

Каков деревенский дом? Какова его история? Как он развивается, пристраивается, ремонтируется? Как дом воспринимается хозяевами? Как трансформируется, обживается, становится своим? Каким деревенский дом стал? Каким он может стать?

«Слабое» описание

Лиричность вступления, метафоричность и авторская полифония не случайны. Да, мы не мастера слова, с трудом усаживаем разрывы в речи, сдерживаем эмоциональную избыточность. Нам легче придерживаться объективированного, обезличенного стиля. Но сам предмет исследования (оставим пока этот штамп научной речи) диктует иную, поэтизированную (Бабашкин, 2017: 152), эмоциональную (Hammersley, Atkinson, 1989: 207) подачу материала. Дабы не утонуть, не пресытиться «легковесностью и наукообразностью» (Виноградский, 2017а; Бабашкин, 2018: 175), не смотреть на мир с верхнего регистра, следует совершить радикальный отказ от привычных, академических форм подачи материала. Совершить над собой насилие, высказать свою слабость.

В ситуации общения, соприсутствия иному строю мысли, иной ритмике речи, понимаешь, что все усилия по переводу неказистой, но прямой, правдивой манеры сельских жителей в стройную лите-

ратурную форму терпят полный крах. Неуместность, надуманность и чужеродность любых концептуальных описаний, заимствованных из многочисленных трудов коллег, выпирает, разрушает уверенность, требует вовсе отказаться от письма. Об этом нельзя ничего сказать внятно, не лучше ли замолчать?

Но мы продолжаем. И потому выбираем иной, эмоциональный, с явными смысловыми разрывами стиль изложения, соответствующий методической культуре этнографических размышлений, или включенного наблюдения, — понятий, в целом синонимичных. Представлять других через их представление о ситуации (Halvacsree, 1995), не присваивать их речь, не пересказывать, а включать себя в коммуникацию, репрезентировать непонимание, производить автоэтнографические тексты.

Полифония авторских высказываний, с переходами от «мы» к «я» (морфология русского языка позволяет без особых маркеров различать высказывания разнополюс авторов), дополняется речью информантов и стилистически нейтральным изложением «как-если-бы» фактологии, почерпнутой из иных публикаций. Полноименными, неанонимными предстают наши собеседники. Спросил одного об информированном согласии, получил недоуменный взгляд: «Разве правда бывает анонимной. Как есть, так и пишите». Со вторым уже не упоминал о столь чуждых деревенскому быту материях, лишь коротко интересовался: можно ли, допустимо?

Мы ведем речь о деревенском доме, пытаемся определить его место в жизни оставшихся и уехавших из деревни, пережить их восприятие родных мест, близости и уюта, эволюции материальных воплощений семейного быта. Как и сотни других полевых исследователей (см., например: Cowie, Heathcott, 2003; Lequieu, 2017; Tuitjer, 2018; Виноградский, 2017а, 2017b), фиксируем изменения в жизни, восприятие селянами себя, окружающих, своего дома в контексте обрушения экономических условий, свертывания сельской экономики (в нашем случае лесозаготовок и посевов). Попытка описать услышанное отстраненно, подражая незаинтересованным, нейтральным повествователям, у нас провалилась. Что-то значимое, эмоциональное, определяющее отношение ускользало. Потому решили уйти в автобиографичность письма, выставив свою неуклюжесть и удивление, отказавшись от описи проведенных интервью, формализации отбора респондентов и объективированного письма. Это и есть этнография, или мотивированное слабое описание, размышление над собственными сбоями в восприятии непривычного, непонятного и притягательного.

Особости дома

Русский Север испокон веков имеет свои особости в деревенских постройках, сельской архитектуре. Так пишут историки и этно-

графы (Ополовников, Ополовникова, 2001). Вроде бы нет тому опровержений. «Переезжая», как и его обитатели, перестраиваясь, укрепляясь и расширяясь, дом сопровождает жизнь целых поколений. Дом есть материальное воплощение деревенского быта и мировоззрения (Heley, Jones, 2012); «локальности, репрезентации и проживания» (Halfacree, 1995, 2006: 51-52); родового строя, семьи (Tuitjer, 2018: 156, 159); «места близости, порядка, постоянства, комфорта и укорененной культуры» (Duyvandak, 2011: 28). Другими словами, деревенский дом выступает архетипом сельского пространства, репрезентируя и скрывая деревенское как таковое.

Здесь, на Севере, нет привычных палисадников, отделяющих дом от дороги. Ворота — это вход в лабиринт хозяйственных построек, только пройдя которые можно попасть в избу (так деревенские называют жилое помещение). Органичность, прагматизм переходов и построек, объединенных в единую деревянную композицию, трудно уловить, впервые переступив порог. Узкие коридоры, отсутствие окон шокирует, сбивает ориентацию. Не знаешь, куда двинуться, какую дверь открыть. Замешательство определяет во мне чужака. Плутаю в темноте, пока голос хозяина не указывает верное направление.

Здесь, в деревне отца, была всего три раза. В доме жили бабушка и дедушка. Косили сено, копали картошку, ходили в лес. Дом блестел чистотой, окутывал ухоженностью. Мост, или срединная часть дома, где не было окон, казалось, был наполнен своим внутренним светом. Домотканые, разноцветные половички. Ведра с ягодами или грибами. На столе отполированный, всегда горячий самовар, лучшая посуда — для гостей. Распаленная печь. Запах шанег, топленого молока. Дом полон звуков, запахов — полон жизни. Таким я его помню, воспринимаю сейчас. Сквозь опустевшие сени пробивает голос деда. Любимое место на веранде. Дымящиеся окурки, только что затихшая гармонь. Уютная, неспешная деревенская жизнь. И дом, большой, с бесконечными хозяйственными заутками — ее основание.

Дом старинный, не меньше ста лет от роду, с историей перепродаж, разных хозяев, переездов, разборки и сборки — по бревнам от основания до венцов. Такой строительный подход обусловлен прагматическими задачами, в том числе отвозом от возведения нового жилья в пользу «вторички». Заготовка леса под сруб дома предполагала недюжинные материальные, временные и физические затраты, в то время как перевезти готовый, пусть и обжитый прежними хозяевами, дом на расстояние до 50 километров виделось куда проще, быстрее и дешевле.

Второй день в деревне. С утра пошел поговорить к соседу семьи Ергиных, в доме которых остановились. Все в деревне родственники, особенно соседи (Самойлова, 2016: 310-311). Мой собеседник — Анатолий Павлович Ергин, 85 лет, живет один. Две

дочери давно перебрались в город, по очереди навещают отца, по несколько месяцев живут, ухаживают, готовят, убираются. Расположились в горнице за столом. Напротив — фотография недавно умершей жены, стопка журналов, искусственные цветы в вазе. Видно — хозяин подготовился, ждал. Говорим о жизни, о доме.

*Д.М. Рогозин,
Е.В. Вьюговская*
Автоэтнография
деревенского дома
Русского Севера

«А вот в этой деревне и родился, только не в этом доме, отцовский он был. Вон за тем домом, что рядом стоит, его нету сейчас, огород теперя. Раньше я тут родился и жил, пока не построил свой дом. А этот я ставил в 54-м году. Вот с починка-то (так называют сельское поселение на Севере. — Прим. авт.), с Большого Озера, и перевез его. Шесть километров отсюда у нас хутор был. Вот с того хутора я сюда этот дом перевез. <...> Купил у сына того, кто строил. Этот дом мой стоял вот здесь, под горой. Потом его перевезли в 24-м году, ну хуторная система стала там, его перевезли на Большое Озеро. А до 24-го, в каком-то году он строился, ну уж в том-то столетии, в конце восьмисотых. Крыша пока дом держит. А внутри я ремонтировал. В 70-м году на ремонт поставил — нижние уж бровни изгнили» (Анатолий Павлович Ергин, 85 лет).

С утра навестила Таисию Павловну Ложкареву. Живет вместе с сыном и снохой в одном дворе, но в отдельном домике. Внуки уже взрослые, давно разъехались. Двоюродная сестра Анатолия Павловича, родственница. Ласково его зовет Натолием, вековечным своим хозяином.

«Я родилась, вот тут изба была, в том месте изба была. Это потом, жили-пожили, а потом на ноги-то стали... Дом этот с батьком поставили. Был вот этот дом без этой кухни, ставили: окошечки были небольшие, жили — русская печь была вот тут, тут были полати. Мы с отцом после войны — мать, отец, я, кто-то помогал ведь строить — вот это изба была. Потом уж я перестраивала в 74-м году: эту избу раскатала всю, наняла мужиков, нарубили лесу, сделали подруб. Окошки другие, и кухню прирубила. И вот этот двор и все делала без мужа. С наймовой силой! [Почему решили переделать?] Так худой он стал. Я жила там, вода тоже все с реки, колодца-то нет. Так приду на берег, стою да реву, да на избушку смотрю, умаливаю. А избушка была невелика, так без горенки-то небольшая. Я стою да реву, стою да реву, жалею избушки. А тут уж матери сказала, давай я избу переделаю. Лесу нарубим, избу-то переделаем, я и буду жить <...> Лесу нарубили, Колевка сходил в лесничество, лес выписал, с Натолием, братом двоюродным, вековичный мой хозяин, пошли лес рубить. Привезли, вот весной и стали перестраивать. Натолый все командовал, говорил, изба-то мала,

вот этот конец они к ней и добавили. И срубили» (Таисия Павловна Ложкарева, 85 лет).

Особенности деревенского дома неразрывно связаны с его хозяевами, их биографиями и судьбами.

Во-первых, каждый дом — хранилище родовой памяти, порой памяти нескольких поколений. Дом — основание семейной жизни, условие благополучия, планов и надежд на будущее, глубоко укорененных в общем прошлом.

Во-вторых, дом — это звено соседской общины, состоящей из дальних и близких родственников, друзей. Дом — это ландшафтный узел родовых уз. Общая сеть огородов, калиток, троп указывают на неразрывную связь соседей, представляют их общий быт (Домников, 2016: 53). В северной деревне почти отсутствуют фасадные заборы. Декоративны по своему исполнению, они скорее обозначают характер хозяев, украшают пространство, чем оберегают, скрывают их от чужаков. На улице не может быть другого, чужого, опасного, безымянного. Улица принадлежит дому.

В-третьих, в диссонанс с городской жизнью, где значимость имеют только новые вещи, а старое, сломанное подлежит утилизации, деревенский дом — это объект длящихся ремонтов, пристроев, перевозов, где нет законченного, отчужденного, выставленного на продажу предмета недвижимости. Есть материальное воплощение родовых историй, семейных биографий и сельских судеб.

В-четвертых, дом — это субъект хозяйства, жилье для всех: людей, скота, дворовых домашних питомцев. Каждое переустройство, дополнительное помещение, пристрой определяются хозяйственными нуждами, заданы жесткой прагматикой, связанной с деревенским трудом. Дом — это не только место, но и инструмент для воспроизводства деревенского уклада, несуетной повседневности.

Перевозы и пристрой

Перевозить целый дом. Удивительно. Спрашиваю по незнанию, городской неумелости: зачем? Да, и как такое возможно? В ответ лишь вздернутые брови и ухмылка: «избу можно раскатать» за день, а поставить — дня за два. Делов-то».

«Так разбирали, ведь он из бревен дом. Когда его надо везти, значит, разбираешь и просто номера ставишь на каждом бревне. В стене вот бревна есть, ряд идет — одно, второй ряд — два, третий, вот на всех этих бревнах ставишь эти... Нет дак перепутать — одно-другое не подойдет уже тут, как номер есть, так подойдет лишь то, как надо. Но только номер на номер кладешь — и все, по номеру. Да я разобрал на Озере также, на трак-

торе, я на тракторе трактористом робыл, и перевез сюда. И вот здесь и поставили с отцом. Отец в то время жил-был, так отец помогал делать. Он, правда, инвалид был второй группы, по ногам, но все равно помогал. Но дак когда строил не один отец — помогали другие. В основном вчетвером всегда делали» (Анатолий Павлович Ергин, 85 лет).

Пока добрались до Сиников, проехали не одну северную деревушку — есть среди них ухоженные, а есть и вовсе заброшенные. Трудно не заметить схожесть домово́й застройки — большие, тяжелые, вытянутые вверх серо-коричневые срубы, с маленькими оконцами на первом этаже и лишь с фасадной части — поднимаются исполинами вдоль дороги, недоверчиво провожая вглубь таежного края. Это наиболее типичные для Севера дома, так называемые пятистенки.

Особость пятистенка заключается не только в его суровом внешнем облике, но и в прагматизме его возведения и обустройства, в его функциональном назначении. Так, в постройке избы раньше не использовалось ни единого гвоздя, а стыки сруба заполнялись мхом (в редких случаях паклей), для укрепления и утепления (Семченков, 2001). Как и древесина, планировка дома способствовала максимальному сохранению тепла, объединяя жилые и хозяйственные части.

В условиях натурального хозяйства, традиционной промысловой и ремесленной культуры (Никулина, Никулин, 2015: 176), территориальной разобщенности и одновременно общинности (Архипова, Титорский, 2013), долгих северных зим, в условиях ежегодных весенних и осенних распутиц такой тип дома-двора стал самым удобным. В нем можно было заниматься хозяйством, не выходя подолгу наружу (Бодэ, Воеводин, Тодорова, 2017: 5), — пространство пятистенка более всего отвечало хозяйственным нуждам, со временем обрастая новыми пристроями. Очевидно, по этой причине такой план дома получил наибольшее распространение (Ополовников, Ополовникова, 2001; Русский Север, 2001; Шейковская, 2012). Такова очевидность книжная, а для деревенского иначе и быть не может. Изба — основа семьи, а скотина — залог благополучия, оберег от голода и невзгод. В отличие от ироничного городского дискурса, в этих словах проступает изначальный, основательный смысл деревенского уклада.

«А пристрой опять снова, тоже рубишь, тоже наподобие дома, такой же самый для скота примерно, я же держал коров, свиней, телят, ну когда был в силах. Для скота ведь тоже отдельное помещение: пол в самом низу на земле, а потолок тоже есть. Мы называли его двором, как хлев для скота. [Когда перестали скотину держать? Свое хозяйство?] Хозяйке было 73 года, а мне 71 год, вот как перестали. В 2003 году, декабрь месяц. А тогда как без это-



Рис. 1. Дом А.П. Ергина (справа). Фото Д. Рогозина

го? Все скота держали, и пожилые, все. Молодые, как только женились, в первую очередь скотину заводили. Все так, не то, что это я» (Анатолий Павлович Ергин, 85 лет).

В деревне не стало скотины: лишь в одном дворе увидел пару коров. Остальные предпочитают пакетированное молоко: дешево и сердито, никаких хлопот. Отпала экономическая целесообразность, не стало сил, прекратились пристрои — и вместе с ними разом обветшал большой дом, обернувшись хранилищем брошенных вещей. Огромные пространства хозяйственных построек с переходами, дверьми, полками, лестницами поражают на фоне совсем крошечного жилого помещения, в котором встречающий тебя старик уже смотрится заложником, а не хозяином. Вместо объединяющего, связывающего семью пространства дом становится местом одиночества, покинутости, остро переживаемыми в любом возрасте и месте (Kelly, Steiner, Mazzaei, Baker, 2019). И нет никаких сомнений, что старики, проживающие в сельской местности, — наиболее уязвимая, социально изолированная и незащищенная группа.

Перевозы и пристрои — это нечто большее, чем ремонт или поддержание дома. Это материальная трансформация, опирающаяся на социальные требования, планы и ожидания. Это жизнь, развитие дома и семьи, история их преобразований. Мы привыкли воспринимать движение лишь на больших дистанциях. Здесь, в северных лесах, поколения жили, казалось бы, неподвижно, оседло. Но их оседлость надумана, приписана внешним наблюдателем (Lequieu, 2017: 204). Пока дом развивался, прирастал новыми постройками, менял

свое место — ни о какой оседлости говорить не приходится. Перевозы и пристрои — это элементы утерянной социальной инфраструктуры (Bovet, Strebelt, 2019: 92), сельского ландшафта, экологичной мобильности, построенной на сохранении устойчивости, приспособленности к изменениям окружающей среды (Lequieu, 2017: 203). Благоустройство земли, обновление придомовых сооружений обусловлены семейными ценностями и потребностями, становятся общей целью как фактор укрепления семейственности, ощущения надежности и прочности. Однако с приходом старости, наступлением смерти это ощущение, которым обеспечивает сельский дом семью, необратимо (безвозвратно) уходит в прошлое.

В поисках новых историй и рассуждений о деревенской жизни не могу не зайти в дом к Чирковым. Рада бы увидеть Леонида, всегда интересного рассказчика, заботливого и скрупулезного хозяина своего подворья. Вот и теперь, поднимаясь по высокому крыльцу, вижу — новенький дровяной сарай, гараж из свежего дерева. Только хозяина больше нет. Супруга Надежда едва сдерживает слезы — разговоры о планах на будущее, дальнейшем переустройстве, покупке новых предметов быта кажутся тщетными, несостоятельными.

«Дровяник-то ребята нам сделали. А то гараж-то он сам сделал, трактор, говорю, купил. Радовался-то — ой. А как в лес, на болото за ягодами да грибами побежит — так никогда, чтоб с пустыми руками. Обязательно че-нибудь несет. Бывает, по два раза в день даже ходил. Придет, отдохнет, поест, и еще раз поидет — места-то все знал. По пути успеет рыбы наловить на узу... В больнице-то ему две недели надо было отлежать, он неделю отлежал. Октябрина вечером с ним разговаривала, он говорил, все нормально. А в двенадцать, в первом часу ночи умер. Построил все, а сам умер. Как-то вот нужно жить дальше, дак теперь не знаю как. Ребята-то придут, сено помогут поставить, а все уж не то» (Надежда Чиркова, 56 лет).

Зачастую дом неотделим от хозяина. Уход последнего — первый шаг к разрушению, даже только что построенного, нового. Это главное, за которым не всегда можно рассмотреть детали. Переустройство дома, его жизненный цикл проходят по-разному, зависят не только от привычек и умений хозяев, но и от типа строения. Без учета этого не понять природу дома и отношения к нему жильцов.

Типология жилья

Воспоминания о молодости, женитьбе, детях и внуках связаны с обустройством избы, или «одноквартирником», как говорят старожилы.

лы. Это первый, простейший тип жилья, почти не сохранившийся, поскольку благодаря пристроям дома разрастались и совершенствовались. Как правило, изба представляла собой весьма компактную комнату, заключенную в четыре стены, и небольшие сени, защищавшие вход от непогоды. Изба могла условно (или с помощью предметов мебели) делиться на две части, в одной располагалась печь, был сосредоточен весь кухонный и хозяйственный инвентарь, в другой — обеденный стол, полати (позднее кровати), лавки. Здесь ели, выполняли домашние работы, спали.

«[Раньше где готовили?] Все там, что в одной комнате: русская печь большая была. Вот проход, шкаф, тут печь, спали — вот тут полати были, такие настелены доски. Умывальник стол и стол. Диванов не было, скамейки были, стол да скамейки. Здесь сидит, пишет письмо, я с той стороны сел письмо писать, она пишет, я с ней переписываю. Потом, ты чего пишешь-то?! Одно и то же! Забрали меня, я аж заревел. Пишешь, а еще и не ладно. А под полатями кровать была в этом месте. Все время была, и больше никакой мебели» (Николай Синицкий, 63 года, сын Т.П. Ложкаревой).

Второй тип — «пятистенок», изба с пристроенной спальней комнатой, обычно небольшой, и кухней, отделенной перегородкой. Развитие такого типа деревенского жилища, как изба-пятистенок, обуславливалось необходимостью увеличения количества не столько жилых, сколько хозяйственных помещений. Для расширения жилой площади к основному сруб избу присоединяли дополнительные помещения или же изначально заготавливали сруб с поперечной «пятой» стеной в центре постройки. Так вместо одного помещения в передней части дома образовывались два — изба и горница, изолированные друг от друга. Жилую часть значительно превосходили в размерах подсобные помещения (двор, клеть, повесть в верхней части здания), которые соединялись с избой лестницами, переходами и так называемым «мостом», обширным, выполнявшим функции чулана и кладовой (рис. 2).

Скотный двор занимал почти весь нижний этаж здания, был оснащен воротами для въезда и выезда подвод; над ним также располагалась повесть — просторный сарай, который служил сеновалом и местом хранения всевозможных земледельческих и промысловых инструментов. Избы-пятистенки — как одно-, так и двухэтажные — получили большое распространение в северной деревне в силу практических интересов, одновременно служили воплощением традиционного патриархального уклада жизни (Пермиловская, 2005). Удивительно, если хозяйственные помещения со временем могли только расширяться, жилое пространство оставалось по-прежнему небольшим, и вместо того, чтобы становиться как можно более комфортабельным, предназначенным для отдыха, на-

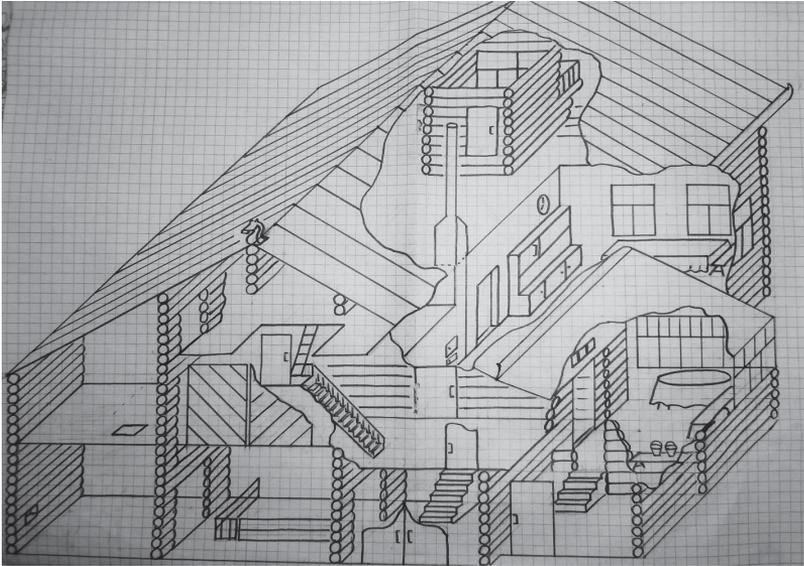


Рис. 2. Классический «пятистенник». Вид изнутри (рис. Д. Ергина)

против, продолжало рабочее место, побуждало к дополнительным физическим усилиям, чему в том числе способствовали отсутствие водопроводной воды, биоудобств: *«Воду для скота или помыть что из колодца можно набрать, а на чай если, питьевую — не сеешь с реки»*. Такой намеренный отказ от благоустройства своего жилища позволял, по словам самих жителей, больше двигаться, держать себя в тонусе, поддерживать хорошую физическую форму, упорядочить день, время, жизнь, которая целиком и полностью посвящалась труду.

«А с горенкой «пятистенник» называется. Пять стен-то: четыре по бокам, а посередине — пятая. Вторая комната называется «горенка». Спальня как бы. Не называли «дом» ли что ли, так и звали: у меня изба, у тебя «пятистенник». А то изба, просто отгорожена печкой и все. Ведь печка, тут что-нибудь ставили или досками отгораживали, или какой шкаф поставят, как у кого шкаф был — шкафом отгородили а то. Называлась она заборка, «за заборкой». Там обряды. Обряды — это вот с животными, там вся утварь: ведра какие-то, лозанки, кастрюли, чугуны, готовили там — вот это называлось «за заборкой». «Там за заборкой». «Ой да ты обрядилась?» «Обрядилась!» Все сделать, приготовить, всех накормить. Может, у кого и не так говорят. А как иначе?» (Любовь Синицкая, 63 года).

Дом также служил основанием для оценки экономического статуса проживавшей в нем семьи, ее численности и гендерного состава.



Рис. 3. «Пятистенок» А.В. Ергина (1933–2013). Вид с фасада.
Фото Д. Рогозина

ва: так, большой «пятистенок» дешевле и сподручнее было «перевезти» и возвести на новом месте при наличии не одной пары мужских рук.

«Пятистенки ведь ставили мужики, у кого сыновья подросли, мужики пришли. Сыновья-то, братья-то — есть кому. Семьи-то большие если» (Любовь Синицкая, 63 года, сноха Т.П. Ложкаревой).

Дом-пятистенок сегодня обладает аутентичными внешними и внутренними признаками, формирующими неповторимую культурную специфику, присущую Русскому Северу, отражающими его монументальность, сельский хозяйственный уклад.

Третий тип — новая застройка второй половины 1960-х — определенного расхожего среди жителей названия не имеет. Проект советских архитекторов, направленный на избавление от хозяйственных пристроек, закрепление труда только за коллективными формами (Косенкова, 2018: 81), так и остался анонимным, неродным. Дом третьего типа отличается вытянутым корпусом за счет отдельной просторной кухни, пристраиваемой к жилому помещению — избе. Изба переставала выполнять множество функций и теперь оставалась лишь светлой жилой комнатой с окнами. Кухня становилась значительно крупнее своих предшественниц и теперь полностью перенимала хозяйственную роль.

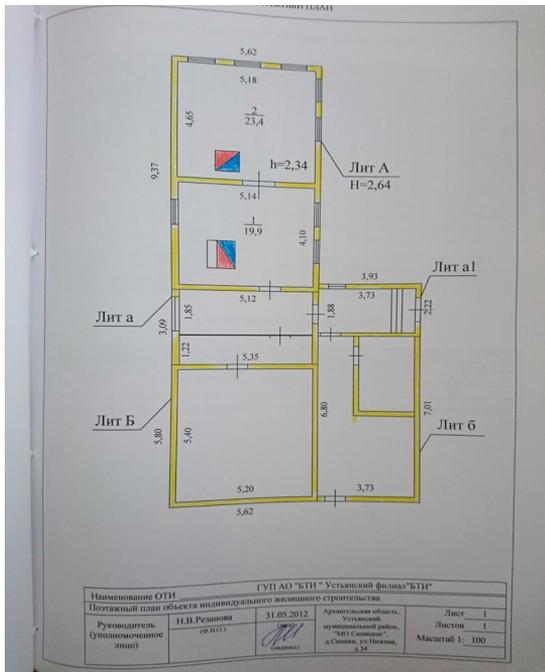


Рис. 4. **Позэтажный план новой застройки конца 1960-х годов (дом Т.П. Ложкаревой)**

«Она было купила домик вот там, у нас клуб был, за клубом. Я уже замуж вышла, к ним пришла, и ту зиму мы едва пережили. Холодно. Вот она решила, тут житья-то нет, и решила перестроить эту... свою. Потому что она купила, а он оказался худой дом-то. Бабушка перешла жить к Колевке, дом пустовал, и она решила переделать его в свое. Это было в 1974 году. А мы-то уже снова все переделывали. У нас же квартира была, квартира-то сгорела, и мы тут все поднимали на фундамент, переделывали. Но стены-то все стояли, переделывали печи, переделывали фундамент, ремонт. А стены-то, основное, крыша, эти перекрытия старые, 50-х годов» (Любовь Синицкая, 63 года, сноха Т.П. Ложкаревой).

Четвертый тип, «двухквартирник» — небольшой деревянный дом на две семьи, конца 1970-х, с наиболее комфортно и эргономично устроенным жилым пространством.

«Квартиры-то удобнее. Как бы все отдельно, комната, спальня, кухня — все изолированно. Удобнее, конечно. Планировка удобнее. Но со скотом-то, конечно, удобнее здесь. Там-то пока набегаеть-

ся, все во дворе, а если заметет. Тут-то я еще и на улице не была» (Любовь Синицкая, 63 года).

«Эти двухквартирники — с виду маленькие, а внутри еще лучше и грамотнее устроены, чем большие дома деревенские. И комнаты там просторнее, и кухня. Только придомовые постройки отдельные домики — образуют открытый двор» (Василий Ергин, 60 лет).

Итак, в зависимости от устройства дома, его интерьера, оказывавшего влияние и на внешний облик, соотношения жилой и хозяйственной части можно выделить четыре типа северных деревенских домов: избу, пятистенки, безымянное жилье и двухквартирники. У каждого типа свое место в истории, своя прагматика.

Прагматика дома

Третий и четвертый тип домов являются наиболее молодой застройкой, в некоторой степени приближенной по внутреннему устройству, удобствам к городской квартире, за исключением помещений, отвечающих за соблюдение гигиены (баня, туалет), — они и сегодня продолжают находиться на улице, в виде отдельных построек.

«Раньше бани, я еще застал, были черные, топились по-черному: у них отсутствовала дымоходная труба, не было печи, которую мы теперь затапливаем, например, а был открытый очаг, он располагался прямо на земле и прогревал вокруг него уложенные камни, и всю баню целиком — они еще меньше были тогда. Дым от очага выходил через частично приоткрытую дверь и отдушину в потолке. Стены, пол, потолок быстро покрывались копотью, оттого и называли их «черными». Ох и жаркие они были! Такие бани были очень пожароопасные, потому их сооружали на выселках, у реки, поодаль от самой деревни, жилых домов. Бывали случаи, они и горели у нас. А потом уже, наверное, в 70-е стали появляться белые бани, с печью, металлической, как правило. Не опасные, оттого перестраивались ближе к дому» (Василий Ергин, 60 лет).

Появление новых архитектурных стилей и решений (новых типов жилой застройки, совершенствование бани) приходится на период 1960–1970-х годов, характеризующийся общим подъемом деревни: благоприятной экономической ситуацией, ростом населения, наличием работы.

Гармония и практичность устройства жилых домов сменились восприятием нецелесообразности и избытка их хозяйственной части. Модернизация сельского жилья, отказ от громоздкости, тя-

желовесности в пользу компактности помещений наложили отпечаток на традиционные занятия ремеслами и промыслами, столь важными для жизнеобеспечения местного населения, но утратившими свое было значение (Никулина, Никулин, 2015: 179). С конца 1980-х, со слов наших собеседников, все стало валиться, терять смысл, а вместе с тем пропадали прочность, основательность, необходимость оставаться на земле. Кит Хафекри утверждает, что в основании традиционного сельского пространства лежит идея продуктивизма (Halfacree, 2006: 55-56), или производства продуктов, труда, регламентирующего и определяющего деревенский уклад. Подрыв оснований, ускользание экономической целесообразности приводит к потере ориентиров, разрушению символического пространства дома.

Общей чертой для первых двух типов домов и отличавшей от них четвертый и отчасти третий тип была организация хозяйственной части дома, называемая «крытым» двором. Двор соединялся с жилым пространством «мостом» — нежилой, неотапливаемой площадью, значительно превышающей размеры жилища. «Мост» был основанием дома, тем, что кормит, питает семью.

Просто и ярко о хозяйственной части дома — у Валерия Виноградского, в его разговорах с крестьянами южных широт: «Что такое работа на других? Это так, ерунда, для денег. Но дом — вот что главное. Дом в основном кормит!» (Виноградский, 2017b: 106). И нет никакой разницы между севером и югом в этих словах. Разница лишь в конструкциях, привычках, приспособлениях к северному быту. Потому предназначение «моста» нельзя недооценить. Это:

1) разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового (ветрозащитного) тамбура;

2) соединительное пространство между избой, садником (сараем для содержания домашних животных) и поветью (сеновалом), позволявшее не выходить на улицу, а вести все домашние дела внутри дома;

3) холодная кладовая для продуктов питания в демисезонный период. Обычно в сенях для этого оборудуются полки;

5) гостевая комната, где в теплый период гости или родственники могут переночевать;

6) склад (кладовая) для разного инвентаря, не поместившегося в дом.

Как признаются сами жители, значение хозяйственной части больших размеров постепенно нивелировалось: скотину стали держать реже (или перестали держать вовсе), необходимость заготавливать и хранить корма постепенно отпала. Современность наложила свой отпечаток: функция «моста» была низведена до роли тамбура, так как сельский житель не заинтересован в ведении широкого подсобного хозяйства, которое подразумевает наличие такого многофункционального помещения.

Продолжением «моста» служила пристраиваемая к нему веранда, которая имела вспомогательное значение. Однако перепроектировать и благоустроить дом для комфортной жизнедеятельности в современных условиях никто не спешил: *«Жилое пространство было ограничено при наличии большой семьи, какой смысл обживать его при ее отсутствии?»*

«Это постройка 70-х годов, раньше так не строили. Двор-то строили, мост большой, так я не знаю зачем? А как иначе? Все равно оно во всю получается. Потому что двор он все равно маленько от избы-то отступали, строили под одну крышу. Зато удобство какое — на мосту много чего влезет. Там ведь раньше ушаты разные были, держали со всякой снедью. Ведь и с капустой, с грибами и с ягодами. И может быть, какие корма и зерно. Все ведь на мосту. Да как же теперь без мосту. Печки стоят, комната, кухня, мост, веранда, двор, животные живут. Все под одной крышей. На улицу выходить не надо. Баня только что отдельно, и все» (Любовь Синицкая, 63 года).

Функциональность и прагматизм поздних построек четвертого типа — жилье для скромного, экономного пребывания, теперь начинает уступать в привлекательности, казалось бы, избыточному дворовому комплексу старинных общих построек. Сельская жизнь, на которую себя считают обреченными старики, не настолько уныла и бесперспективна. Слабый, но устойчивый миграционный поток из города в деревню, регистрируемый в Западной Европе (Milone, Ventura, 2019: 43), вполне реален и в наших широтах. Это не только формирование новых форм хозяйствования, но и переосмысление места жизни, дома для семьи.

Сельский лофт

Действительно, сокращение, а затем и полный отказ от сельских работ, домашнего хозяйства, отъезд детей и внуков в город за лучшей жизнью, старение деревни привели к запустению, оскудению, безлюдью. Один-два старика в горенке или избе и пустые, отсыревшие, продуваемые ветром хозяйственные помещения. Впечатления безрадостные, а вместе с тем трогательные, настраивающие на лирический лад, открывающие иные возможности, иной мир.

«Тут оно... идет к концу деревня — кому это надо? Оно никому не надо тут, сейчас. Жизнь тут не возобновится. Вымирает? И вымирай потихоньку все, кому это надо. А ведь и поселок пустеет, не только деревня... Конечно, хотелось бы возрождения, этого, мне кажется, все хотят. Здесь родились, здесь и умрем. Страх-то берет, что немощные будем, дак потом-то куда?»

Как вот дети будут за нами присматривать? Они — там, а мы — здесь. Старых-то людей уже не стало почти, вот таких-то возрастов [кивает в сторону Таисии Павловны]» (Любовь Синицкая, 63 года).

*Д.М. Рогозин,
Е.В. Вьюговская
Автоэтнография
деревенского дома
Русского Севера*

Сидела у Синицких, разговаривала. Зашла Валентина Софрыгина. Присела порасспрашивать, поговорить о жизни. Виделись еще в первые мои приезды. Узнала, повздыхала, порадовалась. Пили чай, шутили, а трагичность, неустроенность так и не ушла. Переходишь от одних хозяев к другим, а разговоры не меняются.

«Старые уходят, молодые уходят — ой, господи ты, жизнь... Кто умирает, кто уезжает — все вымирает, дома пустые стоят. Идешь мимо, тут Сережка Велькин — пустой дом, сейчас Костя уедет — половина пустая, я иду да считаю: Велька — одна, Самойлов — один, Нинка — одна. Все. А раньше-то ребятков маленьких-то прыгало да бегало. А сейчас все, никого не стало. Вот что делается. Деревня у нас пустая, Лена, просто пустая. Вишь, домов много стоит, а все опустели. Благо что еще лесопункт есть, за счет поселка, так и деревню нашу тянет. А как начнут из поселка уезжать молодые семьи, так и конец» (Валентина Софрыгина, 65 лет).

Старение, немощь, одиночество в больших пространствах, постепенно ставших не востребуемыми, рождают протяжные, наполненные грустью разговоры. Невольно думаю о своих поездках по сельской Европе. В Прибалтике, Польше, Чехии или Германии не раз приходилось останавливаться в сельских апартаментах — хозяйственных или жилых помещениях, преобразованных для туристов. И там, в той мере, в какой можно делиться личным с иностранцем, присутствуют разговоры о трудностях сельской жизни, но они дополняются и множеством светлых воспоминаний.

И у нас, и в Европе пока семья прирастала, дом обретал новые помещения, хозяйственные пристройки, теперь — многие разъехались. В российской деревне по большей части остались одни старики. Они наполняют тепло горенку и кухню, на большее нет ни сил, ни потребности. Но дом по-прежнему статен, чуть покосившийся, вполне годный для возрождения. Нельзя объяснить это рационально, но ощущение некоторого ожидания, немного вопроса, который задают сами стены, остается.

Упрощение, унификация жилья, пришедшееся на весь XX век (Косенкова, 2018), полный отказ от капитальных ремонтов и пристроек — в начале века нынешнего, возможно, требуют кардинального пересмотра. Как в крупных городах на месте заводских цехов, огромных фабричных территорий построены современные лофты, пространства для творчества, общения и производства знания,

так и в сельской местности монументальные дома ожидают своих творческих решений, способных наполнить старые формы новыми смыслами.

«Ревитализация», или возрождение села, — термин с долгой историей (Gladwin, Long, Babb et al., 1989), но который впервые услышал совсем недавно от китайских коллег (Куракин, 2018), отражает не только возрождение традиций, но и переопределение их под новые формы хозяйствования, акцентирующие внимание на экологии, чистоте, простоте архитектурных решений (Lin, Wang, Ke, 2018: 123-125; Wang, Zhuo, 2018: 103-104). Предельная прагматика любых преобразований дома — основа ревитализации. Не сохранение, консервирование или музеефикация прошлого, а преобразование и ремонт умирающих форм под новые, переосмысленные потребности расширенных семей, давно расселившихся по всей России.

Деревенский дом нуждается в ревитализации, переопределении его функционала, подстройки под потребности стареющей деревни, связывающей семьи, дающей основание для воспроизводства родства, кровных связей и отношений. Пространство деревенского дома есть «источник социальной общности и физического родства» (Домников, 2016: 45). Речь идет не о даче, втором жилье, построенном для отдыха и развлечений (Mamonova, Sutherland, 2015), а о первом, основополагающем, родовом, фундаментальном доме. В этом процессе ревитализации старение не должно рассматриваться как некоторый негативный исход или утрата. Старость современного сельского мира есть витальное основание для новой жизни дома, его обитателей, хозяев и гостей. Но пока нас встречает негативная старость, жалобы и упреки к несправедливости социального порядка:

«Раньше-то, ну население-то было ведь. Работа была, лесопункт был, совхоз гремел. Чего еще... столовая была, магазины были. Все было ведь, все было, а только куда оно все делось? Людей не стало видимо, дак... Сейчас пока сил хватает, так огородом живем, все равно на земле. А куда поедешь-то сейчас? Молодые никуда не могут: вот не стало работы, худо-бедно хозяйство было, какие-то доярочки были да мужики там работали. А сей год — все, нету. Надо ехать, а куда ехать? Вот куда ехать семье, если они живут здесь в деревне, за чертой бедности. Жилье надо, а если дети еще. Что про нас-то говорить, нам уж как-то надо тут жить... Хотелось бы, кабы жилье было, конечно, выбраться. Дети-то уехали от нас еще маленькие: пятнадцати лет, школу, девять классов кончили — все, мы их не видим. Учиться да работать, потом замуж... Так и уезжают у нас дети, еще маленькие, недолюбленные... А вот мы-то будем жить, да больницы-то не будет — вот потом худо. Будем уже здоровьем хромать, больше. Та же тетя Нина — сидит. Была бы при городе, может быть, ка-

кую бы помощь оказывали. Ведь все проблемное, все да в наших возрастах. Хорошо сидишь эва пока не тревожит ничто. Единственное что — в больницу выбираться трудно» (Любовь Синицкая, 63 года).

*Д.М. Rogozin,
Е.В. Вьюговская
Автоэтнография
деревенского дома
Русского Севера*

Переживание утраты и разрушения — первый шаг к осмыслению настоящего. Важно не остановиться, продолжить движение.

Сельский лофт — это место, где отсутствует не только государство, с его непрерывным модернистским, реформаторским дискурсом, но и юношеское стремление к новизне, переменам, поиску лучшей доли. Он переопределяет временные горизонты, указывает на действительность, правдивость прошлого, обличает легковесность, надуманность будущего. Старость деревенского дома — это «близость к вечности» (Лишаев, 2010: 177), где прошлое присутствует зримо, определяя фактурой ветхих вещей бессмысленность и суєтность современного мира. Сельский лофт — это портал из мира мнимого комфорта и призрачных увеселений в мир осознания полноты жизни, «расширенного настоящего» (по Б. Докторову) человеческих притязаний. Сельский лофт, или культурно обустроенное пространство, расширяющее прошлое, придающее смысл настоящему, — то немногое, чем может выделяться Россия в мировых экономических и социальных обменах (Родоман, 2017), что может экспортировать как экологически безупречную форму человеческой жизни.

Эпилог

Пробыли в деревне недолго — всего неделю. Я успел свыкнуться с местным говором, как-то приспособиться к отсутствию воды и теплого туалета, как-то, на время. Ощущение временности, неустойчивости увиденного не покидало. Деревенский дом находится на развилке: уйти в небытие вместе со всеми прошлыми чаяниями, как это не раз уже бывало (Erikson, 1976), или возродиться через новые смыслы и подходы. Последнее сомнительно, но весьма привлекательно. Привлекательна для нас, окунувшихся на время в деревенский быт, растерянность стареющих селян от утратившего смысл векового уклада. Но всегда есть шанс, что безнадежное дело по ревитализации села будет подхвачено и укоренено на российской земле.

Пришло время собираться в обратный путь. Вновь дорога предстоит долгая и нелегкая. Тебя не обмануть — не задержались. И снова оставляем, одиноким и неприступным, на сей раз заколачивая вход-

ную дверь и местами забивая окошки. Не сердчай, старче, глядишь, вернемся по весне, укрепим нижние венцы, поднимем пол, поправим дымоход — ты встрепенешься от холодной зимней стужи, расправишь согнутые плечи, задышишь полной грудью. Как прежде, как всегда. А надо ли? Отнюдь. Ведь ты был, есть и останешься главнейшим членом семьи. Ты — ее основатель. Молчаливый хранитель ее традиций и тайн. Ты — наш дом.

Библиография

- Архипова М.Н., Туторский А.В. (2013). Общинные традиции в хозяйстве (как пример бытовых традиций в малой группе) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. История. № 3. С. 104–115.
- Бабашкин В.В. (2017). Крестьянин как романтик // Крестьяноведение. Т. 2. № 3. С. 152–161.
- Бабашкин В.В. (2018). Когда мысль изреченная есть правда, или Крестьяноведение Валерия Виноградского // Крестьяноведение. Т. 3. № 1. С. 174–182.
- Бодэ А.Б., Воеводин И.В., Тодорова З.А. (2017). Традиционный водлозерский дом: из истории народного жилища // Academia: Архитектура и строительство. № 2. С. 5–11.
- Виноградский В.Г. (2017а). «Голоса снизу»: дискурсы сельской повседневности. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
- Виноградский В.Г. (2017б). Формы неформальности: невидимая экономика крестьянского двора // Крестьяноведение. Т. 2. № 2. С. 101–120.
- Домников С.Д. (2016). Формы жизни и ландшафты культуры // Крестьяноведение. Т. 1. № 1. С. 38–67.
- Косенкова Ю.Л. (2018). «Образцовая культурная деревня»: архитектурные мечтания и реальность 1920–1930-х годов // Academia: Архитектура и строительство. № 3. С. 77–85.
- Куракин А.А. (2018). Китайско-российская конференция «Сельское возрождение» // Крестьяноведение. Т. 3. № 2. С. 188–197.
- Лишаев С.А. (2010). Старое и ветхое: опыт философского истолкования. СПб.: Алетейя.
- Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. (2001). Избяная литургия. Книга о русской избе. (Древнерусское деревянное зодчество, вып. 2). М.: ОПОЛО.
- Пермиловская А.Б. (2005). Крестьянский дом в культуре Русского Севера (XIX — начало XX века). Архангельск: Правда Севера.
- Родоман Б.Б. (2017). Экологическая специализация — желательное будущее России // Крестьяноведение. Т. 2. № 3. С. 28–43.
- Русский Север. Этническая история и народная культура. XII–XX века. М.: Наука, 2001.
- Самойлова Е. (2016). Отсюда родом. Октябрьский, Архангельская обл.: МБУК «Устьянский краеведческий музей».
- Семченков А.С. (2001). Выработка концепции «русского дома» // Жилищное строительство. № 1. С. 18–19.
- Никулина Е.С., Никулин А.М. (2015). [Рец.] Рассказывают мастера: из материалов экспедиций по Архангельской области в 70–80-е годы XX века с фотографиями, комментариями и дополнениями автора: Филева Н.А. Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»», 2014 // Человек. № 3. С. 176–181.
- Шейковская Е.Н. (2012). Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI — начала XVIII века. М.: Изд-во «Индрик».
- Bovet A., Strebel I. (2019). Job done: What repair does to caretaker, tenants and their flats // Repair work ethnographies: Revisiting breakdown, relocating materiality / Ed. by I. Strebel, A. Bovet, Ph. Sormani. Singapore: Palgrave Macmillan. P. 89–127.

- Cowie J., Heathcott J. (2003). *Beyond the ruins: The meanings of deindustrialization*. Ithaca, NY: ILR Press.
- Duyvendak J.W. (2011). *The politics of home: Belonging and nostalgia in Europe and the United States*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Erikson K. (1976). *Everything in its path: Destruction of community in the Buffalo Greek flood*. New York: Simon and Shuster.
- Gladwin C.H., Long B.F., Babb E.M., Beaulieu L.J., Moseley A., Mulkey D., Zimet D.J. (1989). Rural entrepreneurship: One key to rural revitalization // *American Journal of Agricultural Economics*. Vol. 71. No. 5. P. 1305–1314.
- Halfacree K.H. (1995). Talking about rurality: Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes // *Journal of Rural Studies*. Vol. 11. No. 1. P. 1–20.
- Halfacree K.H. (2006). Rural space: Constructing a three-fold architecture // *Handbook of rural studies* / Ed. by P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney. Thousand Oaks: Sage. P. 44–62.
- Hammersley M., Atkinson P. (1989). *Ethnography principles in practice*. London: Routledge, 1989. [Reprinted, first published in 1983 by Tavistock Publications].
- Heley J., Jones L. (2012). Relational rurals: Some thoughts on relating things and theory in rural studies // *Journal of Rural Studies*. Vol. 28. P. 208–217.
- Kelly D., Steiner A., Mazzei M., Baker R. (2019). Filling a void? The role of social enterprise in addressing social isolation and loneliness in rural communities // *Journal of Rural Studies*. In Press, corrected proof. [<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.024>]
- Lequieu A.M. (2017). "We made the choice to stick it out": Negotiating a stable home in the rural, American rust belt // *Journal of Rural Studies*. Vol. 53. P. 202–213.
- Lin W.-H., Wang W.-B., Ke L.-B. (2018). On the problem and countermeasures of rural ecological culture construction from the perspective of strategy of rural revitalization // *Advances in Economics, Business and Management Research*. Vol. 60. P. 123–129.
- Milone P., Ventura F. (2019). New generation farmers: Rediscovering the peasantry // *Journal of Rural Studies*. Vol. 65. P. 43–52.
- Momonova N., Sutherland L.-A. (2015). Rural gentrification in Russia: Renegotiating identity, alternative food production and social tension in the countryside // *Journal of Rural Studies*. Vol. 42. P. 154–165.
- Tuitjer G. (2018). A house of one's own — the Eigenheim within rural women's biographies // *Journal of Rural Studies*. Vol. 62. P. 156–163.
- Wang H., Zhuo Y. (2018). The necessary way for the development of China's rural areas in the new era-rural revitalization strategy // *Open Journal of Social Sciences*. Vol. 6. P. 97–106.

Д.М. Рогозин,
Е.В. Вьюговская
Автоэтнография
деревенского дома
Русского Севера

Autoethnography of the rural house in the Russian North

Dmitry M. Rogozin, PhD (Sociology), Head of the Laboratory for Social Research Methodology, Institute of Social Analysis and Forecasting, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119034, Moscow, nab. Prechistenskaya, 1. E-mail: rogozin@ranepa.ru.

Elena V. Vyugovskaya, Researcher, Laboratory for Social Research Methodology, Institute of Social Analysis and Forecasting, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119034, Moscow, nab. Prechistenskaya, 1. E-mail: vyugovskaya-ev@ranepa.ru.

The authors use the ethnographic weak description, i.e. the introspection of personal feelings and impressions, to turn personal reflections into a complete story supplemented with the fragments of narrators' direct speech and linguistic means that allow to express emotions in words and phrases; thus, the authors reconstruct the concept of the

Russian northern rural house and archetypical representations of the traditional rural lifestyle. The article is based on conversations and observations in Siniki, the village in the Ustyansky district of the Arkhangelsk Region, in which the structure of respondents' houses, their appearances, history of construction and of families were discussed. The distinctive features of the old northern house are determined not only by its architectural forms, organization of everyday-life space (hut) and farm outbuildings but also by its owners' biographies and destinies for the house reflects cultural identities, family values and memories, and intergenerational connections. The internal structure of the house determined primarily by natural conditions, economic needs and pragmatics of everyday life allows to identify four types of northern rural houses: a hut, a five-wall house, a no-name house and a duplex house. The latter two types represent the most recent housing characterized by functionality, comfort, compactness and the loss of the previously important wide economic multifunctional spaces. Today the new forms of management and organization of the living place and transformations of the rural house by the contemporary villagers (mainly the elderly) are the basis of the rural revival.

Key words: autoethnography, participant observation, rural house, rural revival, weak description, rural lifestyle.

References

- Arkipova M.N., Tutorsky A.V. (2013) Obshchinnye traditsii v khozyaystve (kak primer bytovany traditsy v maloy gruppe) [Communal traditions in the economy (as an example of the existence of traditions in a small group)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Istoriya*, no 3, pp. 104–115.
- Babashkin V.V. (2017) Krestyanin kak romantik [Peasant as a romantic]. *Krestyanovedenie*, vol. 2, no 3, pp. 152–161.
- Babashkin V.V. (2018). Kogda mysl izrechenaya est pravda, ili Krestyanovedenie Valeriya Vinogradskogo [When the uttered thought is true, or the peasant studies of Valery Vinogradsky]. *Krestyanovedenie*, vol. 3, no 1, pp. 74–182.
- Bode A.B., Voevodin I.V., Todorova Z.A. (2017). Traditsionny vodlozersky dom: iz istorii narodnogo zhilishcha [Traditional Vodlozersky house: From the history of people's dwelling]. *Academia: Arkhitektura i Stroitelstvo*, no 2, pp. 5–11.
- Bovet A., Strebel I. (2019) Job done: What repair does to caretaker, tenants and their flats. *Repair Work Ethnographies: Revisiting Breakdown, Relocating Materiality*. Ed. by I. Strebel, A. Bovet, Ph. Sormani., Singapore: Palgrave Macmillan. pp. 89–127.
- Cowie J., Heathcott J. (2003). *Beyond the Ruins: The Meanings of Deindustrialization*, Ithaca: ILR Press.
- Domnikov S.D. (2016). Formy zhizni i landshafty kultury [Forms of life and landscapes of culture]. *Krestyanovedenie*, vol. 1, no 1, pp. 38–67.
- Duyvendak J.W. (2011) *The Politics of Home: Belonging and Nostalgia in Europe and the United States*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Erikson K. (1976) *Everything in its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*, New York: Simon and Shuster.
- Gladwin C.H., Long B.F., Babb E.M., Beaulieu L.J., Moseley A., Mulkey D., Zimet D.J. (1989) Rural entrepreneurship: One key to rural revitalization. *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 71, no 5, pp. 1305–1314.
- Halfacree K.H. (1995) Talking about rurality: Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes. *Journal of Rural Studies*, vol. 11, no 1, pp. 1–20.
- Halfacree K.H. (2006) Rural space: Constructing a three-fold architecture. *Handbook of Rural Studies*. Ed. by P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney., Thousand Oaks: Sage, pp. 44–62.

- Hammersley M., Atkinson P. (1989 [1983]). *Ethnography Principles in Practice*, London: Routledge.
- Heley J., Jones L. (2012). Relational rurals: Some thoughts on relating things and theory in rural studies. *Journal of Rural Studies*, vol. 28, pp. 208–217.
- Kelly D., Steiner A., Mazzei M., Baker R. (2019) Filling a void? The role of social enterprise in addressing social isolation and loneliness in rural communities. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.024>.
- Kosenkova Yu.L. (2018) “Obraztsovaya kulturnaya derevnya”: arkhitekturnye mechtaniya i realnost 1920–1930-kh godov [An “exemplary cultural village”: Architectural dreams and reality of the 1920s–1930s]. *Academia: Arkhitektura i Stroitelstvo*, no 3, pp. 77–85.
- Kurakin A.A. (2018) Kitaysko-rossiyskaya konferentsiya “Selskoye vozrozhdenie” [China-Russia conference “Rural Revival”]. *Krestyanovedenie*, vol. 3, no 2, pp. 188–197.
- Lequieu A.M. (2017) “We made the choice to stick it out”: Negotiating a stable home in the rural, American rust belt. *Journal of Rural Studies*, vol. 53, pp. 202–213.
- Lin W.-H., Wang W.-B., Ke L.-B. (2018) On the problem and countermeasures of rural ecological culture construction from the perspective of strategy of rural revitalization. *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 60, pp. 123–129.
- Lishaev S.A. (2010) *Staroe i vetkhoe: opyt filosofskogo istolkovaniya* [Old and Dilapidated: A Philosophical Interpretation], Saint Petersburg: Aleteya.
- Mamonova N., Sutherland L.-A. (2015) Rural gentrification in Russia: Renegotiating identity, alternative food production and social tension in the countryside. *Journal of Rural Studies*, vol. 42, pp. 154–165.
- Milone P., Ventura F. (2019) New generation farmers: Rediscovering the peasantry. *Journal of Rural Studies*, vol. 65, pp. 43–52.
- Nikulina E.S., Nikulin A.M. (2015) Rasskazyvayut mastera: iz materialov ekspeditsy po Arkhangel'skoy oblasti v 70–80-e gody XX veka s fotografiyami, kommentariyami i dopolneniyami avtora: Fileva N.A. Arkhangel'sk: OAO “IPP Pravda Severa”, 2014 [Masters tell: from the expeditions in the Arkhangel'sk Region in the 1970–1980s, with photos, comments and additions of the author: Fileva N. Arkhangel'sk: OAO “IPP Pravda Severa”, 2014]. *Chelovek*, no 3, pp. 176–181.
- Opolovnikov A.V., Opolovnikova E.A. (2001) *Izbyanaya liturgiya. Kniga o russkoy izbe (Drevnerusskoe derevyannoe zodchestvo, vyp. 2)* [Rural-House Liturgy. A Book on the Russian Hut (Old-Russian Wooden Architecture, vol. 2)], Moscow: OPOLO.
- Permilovskaya A.B. (2005) *Krestyansky dom v kulture Russkogo Severa (XIX — nachalo XX veka)* [Peasant House in the Culture of the Russian North (19th — Early 20th Century)], Arkhangel'sk: Pravda Severa.
- Rodoman B.B. (2017) Ekologicheskaya spetsializatsiya — zhelatelnoe budushchee Rossii [Ecological specialization as a desirable future for Russia]. *Krestyanovedenie*, vol. 2, no 3, pp. 28–43.
- Russky Sever (2001): *etnicheskaya istoriya i narodnaya kultura. XII–XX veka* [Russian North: Ethnic History and Folk Culture. 12–20th Centuries], Moscow: Nauka.
- Samoilova E. (2016) *Otsyuda rodom* [I Was Born Here]. Oktyabrsky, Arkhangel'skaya oblast: MBUK “Ustyansky kraevedchesky muzey”.
- Semchenkov A.S. (2001) Vyrabotka kontseptsii “russkogo doma” [The development of the “Russian house” concept]. *Zhilishchnoe Stroitelstvo*, no 1, pp. 18–19.
- Sheykovskaya E.N. (2012) Russky krestyanin v dome i mire: severnaya derevnya kontsa XVI — nachala XVIII veka [Russian Peasant in the House and the World: Northern Village of the Late 16th — Early 18th Century], Moscow: Izd-vo “Indrik”.
- Tuitjer G. (2018) A house of one's own — the Eigenheim within rural women's biographies. *Journal of Rural Studies*, vol. 62, pp. 156–163.
- Vinogradsky V.G. (2017a) “Golosa snizu”: diskursy selskoy povsednevnosti [“Voices from Below”: Discourses of Rural Everyday Life], Moscow: Izdatelsky dom “Delo” RANKhiGS.

Д.М. Рогозин,
Е.В. Вьюговская
Автоэтнография
деревенского дома
Русского Севера

- Vinogradsky V.G. (2017b) Formy neformalnosti: nevidimaya ekonomika krestyanskogo dvora [Forms of informality: Invisible economy of the peasant house]. *Krestyanovedenie*, vol. 2, no 2, pp. 101–120.
- Wang H., Zhuo Y. (2018) The necessary way for the development of China's rural areas in the new era-rural revitalization strategy. *Open Journal of Social Sciences*, vol. 6, pp. 97–106.

«Работать надо, и тебя найдут и сами все предложат»

Т.Г. Нефедова, А.М. Никулин

Татьяна Григорьевна Нефедова, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института географии РАН, 119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 29. E-mail: trene12@igras.ru

Александр Михайлович Никулин, кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. E-mail: harmina@yandex.ru

В своем интервью главный научный сотрудник Института географии РАН Татьяна Григорьевна Нефедова рассказывает о сформировавшихся с детства исследовательских интересах, приведших ее в юности на географический факультет МГУ, о своем дальнейшем профессиональном становлении и развитии.

Как и полагается географу, автор чрезвычайно много путешествовала по России и миру, принимая участие в самых разнообразных междисциплинарных географических проектах, изначально отнюдь не сельскохозяйственного направления. Тем не менее основной научный вклад Т.Г. Нефедовой внесен именно в изучение и развитие сельской постсоветской России. При этом надо также отметить и ее кросскультурные сравнительные исследования сельской России с другими странами мира — Европы и Азии.

Большое внимание в интервью уделяется размышлениям о различных методах познания пространственного развития, вопросам восприятия и учета полимасштабности пространства, многообразию региональности как важнейшего фактора сельского развития, соотношению количественных и качественных методов исследования.

Отдельная тема данного интервью: ученый и власть. Стоит ли ученому идти во власть, стремиться своими изысканиями напрямую повлиять на принятие государственных решений с опасностью, часто ценой собственного перерождения, превратиться из ученого в политика или чиновника.

В заключение обсуждаются новые планы и проекты географических исследований сельской России, связанных с сочетанием, например, таких факторов социального развития, как староосвоенность территорий, социальный капитал, социальная мобильность, агломерации, дачники, культурное наследие.

Ключевые слова: география, регионы, сельская Россия, методы исследования, сельские домохозяйства, социальный капитал, агломерации

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-121-142

А.М. НИКУЛИН: Татьяна Григорьевна, расскажите, пожалуйста, о своем жизненном пути в связи с Вашими междисциплинарными сельскими исследованиями. Начните с детства, со школы, универ-

ситета. Придайте некоторую биографическую канву происхождения Вашего интереса к селу.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Я должна признаться, что мой путь к изучению сельской местности оказался довольно случайным. Я типичный городской житель, родилась в самом центре Москвы, где прожила первые 8 лет своей жизни. Мое детство прошло в коммунальной квартире в комнатке 10 м² на троих. Типичная московская семья. Я гуляла во дворе-колодце, в который никогда не попадало солнце. Потом мы переехали в район рядом с Университетом на Ленинских горах, где получили комнату 20 м² на троих, это было счастье. И только когда я стала взрослой, нам дали вторую комнату, и мы их поменяли на отдельную двухкомнатную квартиру. Вот такая судьба типичного горожанина-москвича той поры.

Родители мои, правда, были мигранты. Папа родился в деревне в Тульской области, 10-летним мальчиком после смерти отца его отдали в подмастерья сапожнику в Москве. Он окончил рабфак, потом МГТУ им. Баумана, работал в Госплане, но до конца жизни всегда сам чинил свою обувь. Мама была учительницей. Она родилась в городе Касимове Рязанской области в семье фотографа и приехала в Москву работать после окончания училища.

Я училась в обычной школе. У меня рано выявились склонности к решению задач, сначала по арифметике, потом по математике. У нас даже была такая игра с учителем математики, он мне разыскивал все более сложные задачки. И в школе, и в университете я всем друзьям решала задачи по физике и математике. Впоследствии оказалось, что это был прямой путь в науку. Всю свою жизнь я только и делаю, что ищу путь для решения той или иной научной задачи. Но я вовсе не стремилась в технические или математические вузы, куда толкал меня папа. Они отпугивали меня своей абстрактной логикой. Я любила рисовать и хорошо чувствовала пространство. На уроках черчения меня всегда вызывали к доске, когда нужно было разложить объем на плоскость, и наоборот, я как бы видела это.

И то, что я стала географом, это — подарок судьбы, потому что в географии соединились научная логика и видение пространства. Но географом я стала совершенно случайно. В школе географию преподавали безобразно, заставляя заучивать номенклатуру, и она меня не зацепила. Поскольку я часто помогала маме в школе, занималась с детьми, то другого пути, как поступать в педагогический институт, я не видела. Но придумала самое худшее, что может быть: я решила выучить иностранный язык, который у нас плохо преподавали в школе. Это была трудная задача, но я любила именно трудные задачки и подала документы на факультет иностранных языков и, конечно, провалилась. Еще и потому, что были большие конкурсы — одновременный выпуск 10-х и 11-х классов. Год я работала, а в марте решила сдать пробные экзамены географическо-

го факультета МГУ. Я узнала об экзаменах случайно за две недели. Конкурс в университет был жуткий — 10 человек на место, так как продолжал сказываться двойной выпуск. Но сдавать надо было помимо географии письменную и устную математику, и я решила просто проверить себя. И сдала очень легко. Вот так судьба привела меня в географию.

А.М. НИКУЛИН: И Вам понравилось учиться?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Понравилось, очень. Но я была пока еще очень далека от проблем сельской местности. На факультете организовали Комплексную восточную экспедицию. Это было так интересно — Дальний Восток, экзотика. Я никого из экспедиции не знала, но услышала, что есть аспирант Петр Бакланов (он впоследствии стал академиком, директором Института географии во Владивостоке). Я его нашла и сказала, что хочу заниматься Дальним Востоком. Он только защитил диссертацию и собирался уезжать во Владивосток, а мне сказал: «У меня есть материал по Кавалерово, который некому обрабатывать, я Вам отдам, а Вы посмотрите, что с ним можно сделать». И дал мне толстую пачку таблиц. Я совершенно не понимала, что с этим материалом делать, стала в нем досконально разбираться, много прочитала про горно-обогатительную промышленность и ее воздействие на природу. Курсовую написала сама, практически без руководителя. А дальше как-то все пошло как по маслу. Я защитила ее на «отлично». А потом в коридоре МГУ меня нашел еще один аспирант, тоже дальневосточник, Илья Спектор и спросил: «Это Вы писали курсовую по Кавалерово? Вы хотите работать со мной?» Так моя деятельность в университете оказалась связанной с Дальним Востоком. Диплом я защитила тоже по Дальнему Востоку. И меня тут же взяли на работу в Комплексную восточную экспедицию. Нельзя сказать, что я специально чего-то добивалась: я человек увлекающийся, очень работоспособный, но не целеустремленный. Именно тогда я поняла важное жизненное правило, которое потом подтверждалось всю мою жизнь: работать надо, и тебя найдут и сами все предложат.

В Комплексной восточной экспедиции мне очень пригодилась моя тяга к картам. Я еще когда училась, подрабатывала на геологическом факультете, рисуя карты (ведь родители были уже на пенсии). Тогда их рисовали вручную, но зато можно было придумывать новые оригинальные типы карт. Я помню мою первую экспедицию на Дальний Восток, очень тяжелую, так как мне дали в нагрузку трех студенток и отправили без конкретного задания, сказав: «Соберите материалы по социально-экономическому развитию регионов». А девицы не хотели работать. Погода в сентябре во Владивостоке стояла чудесная, они хотели на пляж, а я заставляла их идти в статуправление. А переписывали мы тоже все вручную, компьютеров не было. Но было так интересно, что они постепенно втянулись. Мы летали в Комсомольск-на-Амуре, где

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все
предложат»

меня поразило, что стоит отъехать немного в сторону от города, всюду видны остатки деревянных бараков лагерей, еще почти не разрушившихся тогда, в 1970-х. Потом мы перелетели в Ургал, оттуда на стройку БАМа. Представляете, четыре неразумные девчонки уговорили военных, чтобы их отвезли на БАМ, где работают заключенные. Ведь, как вы помните, стройка была «комсомольская». Мне очень важно было понять, как это все происходит на самом деле.

А.М. НИКУЛИН: Значит, ваши поля начались с Дальнего Востока?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Нет, мои поля начались гораздо раньше, потому что, подрабатывая на геологическом факультете, я ездила в геологические экспедиции. Моя первая экспедиция была на Кольский полуостров. Мы жили в тайге в палатках, поднимались на сопки и мерили трещиноватость. Все мои коллеги с кафедры динамической геологии, пока я училась на геофаке, переманивали меня на геологический факультет. Но мне нравилась география, не оторванная от человека. Я ездила с геологами на Байкал, о котором сохранилось много интересных воспоминаний. Там были суровые условия, мы жили и в бурятских деревнях, и на берегу моря, ездили на чем придется, расплачивались только водкой, это была основная валюта. Например, когда мы пересекали Байкал, возвращаясь из Баргузина в Приольхонье за три бутылки водки, мы попали на буксир с абсолютно пьяной командой. Катер вывел буксир в море и вернулся в порт. А мы вчетвером бегали по этому буксиру, который тянул за собой баржу, и считали, через сколько часов мы врежемся в остров Ольхон: в рубке никого, в машинном отделении никого — все лежали пьяные, в отключке. Вот такая была действительность. Правда, потом они начали просыпаться, и к тому времени, когда нужно было нас высаживать, были полудееспособны. Так и плавала команда через Байкал: здесь напился, там опохмелился. Очень сильные впечатления.

Но вернемся к географическому факультету. В Комплексной восточной экспедиции я занималась экологией и картами. А в 1978 году меня позвали в Институт географии АН СССР. В какой-то момент ушло старшее поколение, и потребовалась молодежь. Нам тогда Институт географии казался светочем науки. Университет, в котором я провела столько лет, был родным, привычным. А там — настоящая наука, известные ученые: Т.Г. Рунова, Г.А. Приваловская, И.В. Канцеговская, к которым я, взяв свои карты, и пришла на смотрины. Они, как эти карты увидели, сказали: «Берем». И я с тех пор уже 40 лет работаю в Институте географии. И мне опять повезло, потому что я сразу попала в группу, которая занималась экологическими проблемами в рамках СЭВ. Мы стали работать вместе с коллегами из Восточной Европы. В России полигоном исследований была Курская область. И я окунулась совершенно в другую реальность. Мы делали очень подробные карты

землепользования. Это была колоссальная работа. По топографическим картам делали мелкомасштабную карту землепользования. При этом выяснялось, что на официальных картах поселки, дороги — все было передвинуто.

А.М. НИКУЛИН: Карты в Советском Союзе ведь сознательно искажались? Ради милитаристских, военных интересов.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, вполне сознательно. Вплоть до того, что населенные пункты показаны, например, на другом берегу реки. Мне пришлось переключиться на виды деятельности, связанные с землепользованием, сельским и лесным хозяйством. Это был уже первый шаг к моей дальнейшей специализации. Приходилось много писать, так как регулярно выпускались международные сборники статей. Через несколько лет у меня уже было столько материала, что мы с Татьяной Григорьевной Руновой, которая была руководителем нашей группы, решили, что, если все это просто сложить, получится диссертация. И никакой аспирантуры не надо. Я защищала диссертацию на тему «Картографическое моделирование воздействия человека на природу», соединив все, что я делала на Дальнем Востоке и в Европейской России, в том числе на полигоне Курской области.

А.М. НИКУЛИН: Получается, у Вас в определенной степени теоретическая тема диссертации была выстроена на эмпирическом материале.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, я пыталась обосновать методiku и показать примеры того, как можно с помощью серии карт через пространственное распределение изучать воздействия на природу, ее изменения и последствия для населения и хозяйства.

А.М. НИКУЛИН: В каком году защита диссертации проходила?

Т.Г. НЕФЕДОВА: В 1984 году, довольно поздно. Опять же потому, что я не ставила это своей целью, просто так получилось. Накопился материал, было что сказать, и я защитилась. С докторской, кстати, то же самое произошло.

В 1980-е годы времена изменились. Если раньше мы общались с коллегами из-за рубежа виртуально, а ездило за границу только начальство, то с 1985 года мы сами стали бывать в Восточной Европе. Поначалу исследователи изучали свои страны, а потом появилась идея сделать карту природопользования на всю Восточную Европу от Австрии (которая сотрудничала с нами) до Урала. И поближе я все время контактировала с коллегами, которые стали близкими друзьями, как-то так спонтанно получилось, что я стала координировать эту работу. И мы сделали интересную карту, вернее, даже две карты. Одна показывала землепользование с его интенсивностью по довольно мелким выделам, а вторая — ареалы загрязнения и отрасли, за него ответственные в городах. Издали ее вместе с объяснительным текстом в Австрии, и она получила широкий отклик в Европе. Это была очень серьезная работа. А в начале 1990-х годов мы тем же международным коллективом подготовили

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут и сами все предложат»

и издали в Австрии еще одну карту — первых социально-экономических перемен в странах Восточной Европы, показав их по детальным административным единицам.

Я хорошо помню эти годы. Удивительное, хорошее было время, время совершенной свободы. Какой-то короткий период можно было без визы просто купить билет и уехать, допустим, в Брно. Там с кем-то переговорить, заехать в Варшаву и вернуться в Москву. Поскольку при составлении карты от каждой страны был ответственный, а я координировала процесс, то это было необходимо. В результате я в какой-то момент стала даже специалистом по Восточной Европе. И когда к нам в институт приехали французы, которые делали карту загрязнения Дуная, и спросили, кто может им помочь, их вывели на меня.

А.М. НИКУЛИН: Французы по Дунаю? А какое они к Дунаю имеют отношение?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Никакого. Но они выиграли большой проект по изучению экологического воздействия на Дунай и получили деньги. И тут же столкнулись с тем, что статистика в разных странах несопоставимая. Они приехали к нам и сказали: «Что же нам делать? У вас была похожая работа. Помогите». А я через все эти сложности уже прошла, знала все тонкости пересчета, поиска косвенных показателей и т. п. И они меня пригласили в Монпелье, где мы делали эту карту по Дунайским странам.

Но в конце 1980-х и в 1990-е годы началось уже другое. Чем больше было перемен, тем мне становилось все яснее, что изучать только экологию бессмысленно. Экономика, социальные проблемы оказывались на первом месте. Занимаясь Восточной Европой, мы видели, что все зависит от людей. И я все больше и больше мигрировала в социально-экономическую сферу. С Григорием Иоффе мы стали писать статьи по географии сельского хозяйства. Но он в 1989 году уехал в Штаты, и так получилось, что вся сельская тематика свалилась на меня, потому что никто больше этим не занимался. И я в нее полностью погрузилась. Тем более что трудные 90-е годы, которые многие вспоминают как ужасные, для меня оказались замечательными. Это была огромная свобода деятельности. И если ты что-то реально делал, возможности были колоссальные. Конечно, кто-то пострадал, зарплаты были маленькие, их не платили, инфляция ужасная. Многие ушли из института. А у нас с мужем востребованность была огромная, со всех сторон. Да и сами мы были еще молодые и активные. И именно в этот период по инициативе нашей сотрудницы Ольги Глезер и журналиста Александра Минеева мы вчетвером создали Центр изучения российских земель.

А.М. НИКУЛИН: Прямо так и назывался?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, Центр изучения российских земель.

А.М. НИКУЛИН: Вы же еще и журнал издавали. Ольга Глезер мне показывала выпуск той поры от 1993 года, посвященный Бел-

городской области. Мне материалы этого номера очень пригодились, когда я занимался изучением эволюции белгородского сельского хозяйства.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Журнал назывался «Ваш выбор», и это был журнал для людей, принимающих решение. Пожалуй, это была первая попытка повлиять на ситуацию в стране. До этого я занималась чистой наукой, а тут нас услышали, мнением ученых живо заинтересовались. Менялись и сами руководящие органы, особенно региональные администрации. В начале 90-х в каждой администрации были созданы специальные подразделения, куда набирали активных молодых людей, желающих перемен, чтобы они разрабатывали стратегии развития своего региона. И была востребованность таких научных исследований, как наше. Организация всего процесса ложилась на Ольгу и Сашу Минеева, который договаривался с каким-то регионом о том, что мы делаем для них специальный выпуск журнала, как своеобразный проект, посвященный данной области. Администрация за это платила. И еще хватало денег на 2–3 номера журнала в целом по России. А писали статьи по результатам исследований. Первой пробой был ярославский номер, потом вышли номера журнала, посвященные Костромской области, Белгородской, Псковской, Ленинградской. Каждый раз мы приезжали в область небольшой командой, состоящей из географов, историков, журналистов. Я обычно писала про сельскую местность и сельское хозяйство. Поскольку администрация была заказчиком и была заинтересована в том, чтобы мы разобрались в проблемах, нам давали машину с шофером, и мы ездили в разные районы и города области, разговаривали и с простыми людьми, и с представителями бизнеса. Это была прекрасная школа, моя первая школа систематического познания России.

А.М. НИКУЛИН: Напрямую с людьми вы работали, получается?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Непосредственно. И с разными. Мы разговаривали со всеми — от больших начальников до жителей деревушки. Именно тогда я отработала свою методику интервью, которая потом мне очень помогала. Отношение к нам было доброжелательным на всех уровнях, все хотели перемен. И еще был важный урок во время работы в «Вашем выборе»: меня научили писать. Сейчас, когда я читаю свои ранние статьи, я прихожу в ужас, потому что это написано совершенно каким-то нечеловеческим заумным языком. И чем непонятнее, тем как бы научнее. А тут нас учили писать так, чтобы было понятно и интересно, чтобы это был научный текст, и в то же время задевал людей, заставлял их задуматься. Я очень благодарна журналистам, которые с нами работали, они кроили наши первые тексты нещадно, но научили писать. И до сих пор, когда я пишу сугубо научные статьи с массой информации и статистики, я стараюсь делать их доступными, чтобы достучаться не только до специалиста в этой области. Мы занимались журналом шесть лет. Шесть лет мы ездили по разным регио-

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все
предложат»

нам. Колоссальный опыт. Но все это кончилось в 1996 году. Уже тогда видны были перемены.

А.М. НИКУЛИН: В другую сторону.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да. Начали распускать молодежные команды при администрациях, которые только мешали начальникам. Проблемы своих регионов начальников перестали интересовать, тем более они не хотели выносить их на публичное обсуждение. Деньги нам давать тоже перестали. В общем, все стало откатываться назад. Но в 1990-х были и другие импульсы работы. Григорий Иоффе обосновался в Америке в штате Вирджиния. Он стал преподавать в провинциальном вузе, где ему было скучно. И он в начале 1990-х предложил мне подать совместный проект. Поскольку он уже оторвался от российской бурно меняющейся действительности, мы договорились, что я буду писать, а он что-то добавлять, переводить и адаптировать к зарубежным требованиям. Тогда еще был большой интерес к России, и мы выиграли грант. И по результатам написали первую книжку «Continuity and Changes in Rural Russia».

А.М. НИКУЛИН: Когда она была опубликована?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Эта книга вышла в 1997 году. И тогда как-то попала в струю. Когда проект закончился, мы обсуждали, что нам дальше делать, и я предложила отдельный проект по пригородам — уж очень это интересные территории, бурно развивающиеся. Он подал заявку, и мы опять выиграли и написали еще одну книжку «Environments of Russian Cities». После второй книжки меня причислили к американским писателям. Я какое-то время получала письма с просьбой рассказать о своих увлечениях, домашних животных, занятиях в свободное время. Это было очень смешно. Я на них не отвечала, и меня оставили в покое. А дальше началось другое. Я же говорю: работать надо, и к тебе придут и сами все предложат. Мне вдруг позвонила Джудит Пэллот, коллега из Оксфорда, и говорит: «Я еду в Москву, к Вам...»

А.М. НИКУЛИН: А до того вы не были знакомы?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Близко нет. Я ездила в Англию вместе с какой-то группой, чисто шапочное знакомство. А тут она с конкретным предложением: «Я хочу подать заявку на проект о личных подсобных хозяйствах в России, давайте работать вместе». Замечательно. Она написала проект, его приняли. И дальше мы уже с ней «чесали» по регионам России, изучая самые разные типы личных подсобных хозяйств и новых фермеров. Мы с ней ездили вдвоем, и это было хорошее сочетание. Приезжают ученые из Москвы и Оксфорда, что вызывало колоссальное уважение чиновников. И в то же время они нас не опасались. Это же не журналисты.

А.М. НИКУЛИН: Это начало 2000-х было?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, это начало 2000-х. Мы с ней объехали самые разные регионы: от Московской области и Пермского

края до Саратовской области и Ставрополья. Обычно мы начинали с администрации региона, чтобы представиться, сообщить, что приехали ученые, в том числе иностранный профессор, иначе нельзя. Объясняли, чем мы занимаемся. Просили позвонить в районы. Нас встречали очень хорошо. Я всегда сначала изучала статистику, выбирала в регионе районы для посещения, потому что мы географы, нам важно увидеть и понять разные варианты. Я всегда ворчу на социологов, которые в одном месте досконально что-то изучат и говорят: «Вот, мы знаем, что такое Россия». А я знаю, что совсем недалеко может быть совершенно по-другому. Поэтому в каждом регионе я выбирала разные по природным, этническим, экономическим показателям районы. Когда мы приезжали в район, я всегда просила список предприятий и населенных пунктов и выбирала сильные, средние, слабые предприятия и крупный, средний и малый населенные пункты. В деревнях мы шли сначала в сельсовет, разговаривали с местными властями, спрашивали, есть ли активные люди, и шли к ним. Один пересылал к другому и т. д. Так мы набирали интервью известным методом снежного кома. Иногда мы брали с собой пару студентов, и они целый день проводили анкетирование, но только в тех деревнях, где мы были сами. Только тогда анкетам (какая бы ни была выборка) можно верить и их интерпретировать, ведь кратко отвечая на вопросы, люди реагируют на совершенно конкретную ситуацию. Таким образом, мы, начиная от самого верха, доходили до конкретного человека. Так и была построена наша с Джудит книга «Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?».

У нас бывали и смешные случаи, я даже могу некоторые рассказать. Например, в Луховицком районе Московской области был очень холодный день, майское похолодание. Обычно нас встречали очень хорошо, а тут мы идем от дома к дому, представляемся, спрашиваем о хозяйстве, о взаимоотношениях с колхозом. Нам отвечают скупо, разговаривают у калитки, в дом, как обычно, не приглашают. Мы совсем закоченели. А я никак не могла понять, что это за деревня такая неприветливая. Потом другая деревня — та же самая история. Думаю, район какой-то странный. А на следующий день мы приходим в администрацию, я открываю позавчерашнюю местную газету, и там написано: «Граждане, будьте осторожны, по району ходят две цыганки, которые выманивают людей из дома. Одна заговаривает зубы, а другая в это время грабит». Понятно, за кого нас принимали, тем более что Джудит говорит по-русски с акцентом. Такая замечательная история. Еще одна была в Лотошинском районе той же Московской области. Глава администрации очень гордился тем, что к нему приехал профессор из Оксфорда, видимо, сам хотел в Оксфорд съездить. Обещал нам машину и всяческую помощь. Машину нам действительно дали, но повезли мимо деревень без остановок

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут и сами все предложат»

в пансионат, где когда-то любил отдыхать Брежнев, в Завидовском заповеднике. Это шикарно отделанное здание, увешанное звериными шкурами, головами медведей, лосей и т. п. Нас туда завезли и закрыли ворота. Мы пытались объяснить, что нам нужно в деревню, с людьми разговаривать. «Не велено, — отвечали охранники. — Сейчас будут начальники». Действительно, приехали начальники из администрации, посадили нас за огромный стол с массой вина и уникальной закуской и сказали: «Зачем вам в деревню? Спрашивайте, мы вам все сами расскажем». Вот таким был Лотошинский район.

А.М. НИКУЛИН: Конечно, некоторые местные начальники так себя и ведут: «Что вы спрашиваете у наших жителей? Я сам все знаю и все вам расскажу».

Т.Г. НЕФЕДОВА: В результате мы написали две книги: на русском и на английском языках.

А.М. НИКУЛИН: Да, знаменитая книга.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Но до этого была главная книга: «Сельская Россия на перепутье». Я увлеклась рассказами о совместных работах с коллегами и пропустила этот период. Вернемся чуть назад. А получилось очень просто и тоже совершенно случайно. Я не собиралась писать свою книгу, честно скажу. Но до этого в 2000 году мы делали книгу с подачи Павла Поляна «Город и деревня Европейской России: сто лет перемен».

А.М. НИКУЛИН: Это по мотивам работы Семенова-Тян-Шанского столетней давности?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, это была замечательная идея, посмотреть, что изменилось в XX веке. И это было возможно, потому что у Семенова-Тян-Шанского в книге есть перечень всех населенных пунктов, которые он считал городами. Там есть не только официальные города 1897 года, но и те заводы, села, станицы, которые он считал по критериям населенности и торгового оборота истинными городами. Используя эти таблицы, мы, обложив картами всю нашу квартиру, нашли каждый пункт, проследили, что с ним стало, то есть стал ли его истинный город официально городом или нет.

А.М. НИКУЛИН: Сбылись предсказания или нет?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Не совсем. Оказалось, что он был не очень хорошим предсказателем, хотя и великим ученым. Он исходил из других тенденций, не из тех, которые реализовались. Никто не мог предположить такую бешеную индустриализацию и урбанизацию, которая произошла в XX веке. Многие города выросли из чисто административных функций. В общем, мы эту книгу сделали и даже в конце привели перечень всех городов с их показателями в конце 1990-х и 100 лет тому назад. Но в ней речь идет не только о городах, но и об изменении сельской местности, о деревне в городе и горожанах в деревне. Я писала в ней много глав.

А.М. НИКУЛИН: Да, это очень известная и популярная книга.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Она вышла в издательстве О.Г.И., в котором работал тогда Женя Пермяков (он погиб, к сожалению). Я ему очень благодарна, потому что он сыграл очень важную роль в моей жизни. Когда мы эту книгу закончили, Женя вдруг меня пригласил и сказал: «Мне надоело работать в чужих издательствах, я хочу создать свое, совершенно новое издательство, которое так и будет называться «Новое издательство». И я хочу издавать книги научные, не популярные, но доступные и интересные. Именно научные. Мне нравится, как Вы пишете, и я хотел бы попросить Вас участвовать в запуске этого проекта вместе с В.Л. Глазычевым, который сделает книгу про города, а Вы напишете о переменах в сельской местности». Это было, конечно, очень заманчиво. А поскольку материала у меня накопилось в результате путешествий много, я согласилась.

А.М. НИКУЛИН: До того у Вас книги в соавторстве выходили, но собственных книг не было?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Статей было много, совместные книги были, но своей не было. Разговор был в октябре, а к январю он просил дать вариант. Я за три месяца и написала эту книгу. Меня просто распирало от впечатлений, накопленных знаний, мне очень хотелось все это рассказать.

А.М. НИКУЛИН: Там не просто рассказ о сельской России. У Вас там есть концепция внутреннего видения пространства сельской России.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Вот об этом пространстве и речь, я все время к нему возвращаюсь, причем в разных масштабах: и в России, и внутри регионов, и даже в районах. Такая попытка показать экономику и социологию сельской местности в пространстве. И когда книга вышла, она действительно имела удивительный успех. Возможно, потому, что был некий вакуум исследований, 1990-е годы кончились, начались 2000-е, еще не понимали, что где будет. Все чувствовали, что что-то не удалось, а почему в одном месте удалось, а в другом нет, не очень понятно. А книга показывала: «Вот какое все разное. И здесь получится, а здесь и не может, потому и потому». Видимо, и это сыграло свою роль.

А.М. НИКУЛИН: Мне кажется, эта книга еще подвела определенную черту в трансформации сельской России после 1990-х годов. И это очень было тогда важно.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Возможно, она поставила какую-то точку. Но она до сих пор много цитируется. В этой книге я последовательно подтвердила три главных принципа своих исследований. Первый — нельзя изучать население и сельское хозяйство раздельно. И даже преподавать нельзя. Я на лекциях в университете и в других местах все время это говорю. Но и в книгах, и в учебных курсах все разложено по традиционным полочкам и совершенно оторвано одно от другого. Такая отрывка советского времени. Я даже когда-то написала статью о социальной географии

сельского хозяйства, потому что в любой отрасли, а в сельском хозяйстве особенно, трудовые ресурсы — это не ресурсы, это люди определенного возраста, обладающие разными возможностями, со своими традициями, в том числе использования земель, живущие далеко или близко от города, в большом селе или в маленькой деревне — все это влияет на экономику и на сельское хозяйство. Роль социальных проблем и географических различий усиливается. Это мой первый принцип — комплексность исследований. Второй принцип, изложенный в этой книге, — исследование в разных масштабах. Я уже говорила, как мы изучали — от различий между регионами, потом внутри них между районами до разнообразия отдельных деревень и хозяйств. Андрей Трейвиш в своей диссертации обобщил это для географии в целом. Сейчас полимасштабность стала модной, но мы всегда так работали. И, наконец, третий принцип — это подача материала как бы «через пространство» и образы. Можно сколько угодно цифр накидать и даже графики сделать, но они не заменят карту, пусть даже картограмму. Видите, я от карт никуда не делась, и в моих работах всегда много карт, самых разных масштабов. Без этого пространство трудно увидеть. Плюс отдельные примеры, которые помогают составить образ места.

После того как вышла «Сельская Россия на перепутье», Георгий Михайлович Лаппо, наш заведующий отделом и председатель диссертационного совета, которому я эту книжку подарила, сказал: «Так, убирайте часть примеров, расширяйте теоретическую главу — и на защиту». Я совершенно растерялась, потому что не думала ни о какой докторской. Но текст есть, почему нет? И через полгода я уже защитила докторскую диссертацию.

А.М. НИКУЛИН: Удачно. И книжка быстро появилась, и по ее мотивам тут же диссертация.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Так что я благодарна двум людям: Жене Пермякову, который заставил меня написать эту книжку, и Георгию Михайловичу Лаппо, который меня вытащил на защиту. Кстати, в 2006 году по мотивам «Сельской России на перепутье» с добавками Гриши Иоффе вышла наша с ним третья книга на английском языке «The end of peasantry? The disintegration of Rural Russia».

А.М. НИКУЛИН: Вновь реализовался Ваш мировоззренческий принцип: главное — работать, а дальше, возможно, люди, проекты придут по исследовательскому, рабочему интересу.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, я все время с этим сталкивалась. Я раньше думала, что мне просто везет. И опять везет, и опять. А потом поняла, что везет, наверное, потому, что я делаю то, что востребовано. Так что сельскохозяйственная тема — моя любимая, и я каждый год на эту тему пишу статьи, откликаясь на перемены. Но моя тематика намного шире, например, мы несколько лет с нашими коллегами из Германии занимались городами.

А.М. НИКУЛИН: Это в Лейпцигском институте социальной географии?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да. И статьи совместные писали. У нас была замечательная экспедиция по городам Сибири: Тюмень, Ханты-Мансийский округ, Кемерово. Писала об урбанизации, об отдельных городах. А в последнее время увлеклась взаимодействием города и деревни, хотя начала писать об этом еще в книге «Город и деревня Европейской России: сто лет перемен». Я вообще часто работаю на стыке разных тем и направлений, мне всегда были интересны взаимосвязи между разными явлениями. Это проявилось еще на заре моей научной деятельности. Мой первый начальник в Комплексной восточной экспедиции, издеваясь над моими попытками сравнений и объяснений, говорил: «Зачем нам кто-то еще? У нас одна Нефедова — целый институт». Я действительно всю жизнь учусь, осваиваю что-то новое.

А.М. НИКУЛИН: А сейчас что осваиваете?

Т.Г. НЕФЕДОВА: В последние годы меня больше всего волнует тема взаимодействия города и деревни, мобильности населения между ними. В наших поездках по Нечерноземью мы видели, что самыми активными людьми часто оказываются не сельские жители, а горожане-дачники, которые там купили дома и заинтересованы в том, чтобы деревня сохранилась. К тому же мы сами совершенно случайно купили дом в Костромской области (Вы там были на конференции). У нас есть дача в Подмосковье на окраине города Королева, старая такая дача, типично советская, папа ее сам строил. Я там выросла. Когда-то там был сосновый бор, а к реке спускался луг. А сейчас — сплошные заборы, и мне туда не хочется ездить, это малоэтажный город. Зато костромской деревенский дом мы очень любим.

Все началось с того, что меня туда пригласил социолог Никита Евгеньевич Покровский, которого я совершенно не знала. Это опять из той же серии — «тебя найдут». Он мне позвонил и сказал: «Я читал Ваши работы и хочу Вас пригласить в наш Угорский проект». Мне было интересно съездить на базу Угорского проекта в Костромской области, ведь гораздо продуктивнее изучать удаленную деревню. Кстати, именно там многие годы проводились регулярные конференции, собиравшие со всей страны людей, интересующихся сельской местностью. Там мне очень понравилось, хотя деревня совершенно убитая, осталось 5 человек из 200, живших в начале XX века. И когда я там была, пришел местный житель и сказал: «Дом продается». Мы пошли посмотреть — дом огромный, в хорошем состоянии, и продавался тогда, в 2007 году, за смешную цену. С тех пор мы стали дачниками не только ближними, но и дальними (550 км от Москвы). А главное, получили возможность изучать деревни как бы изнутри. И такое включенное наблюдение открыло много нового. Мне казалось, что я столько объездила, со столькими людьми погово-

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все
предложат»

рила, что уже что-то понимаю в сельской местности. Но когда долгу живешь в деревне как местный житель (обычно месяц-полтора, иногда два), погружаешься в другую реальность. Я оценила школу Теодора Шанина, который говорил, что пока вы не проживете несколько месяцев в деревне, вы не поймете ничего. Когда я столкнулась со всеми теми проблемами, которые испытывают местные жители, я начала понимать многое иначе. Я часто слышу доклады: «мы сделаем то, мы сделаем это, мы поднимем инициативу местных жителей и т. д.» — на это мне хочется сказать: «Вы туда поезжайте и поживите несколько месяцев, как местные, и только после этого предлагайте стратегии развития сельской местности». И даже взяв много интервью, до конца не поймешь деревню, так как люди говорят то, что они хотят сказать, а вот как они на самом деле думают и действуют — это можно увидеть, только пожив с ними бок о бок.

А.М. НИКУЛИН: Да, это надо на своей шкуре почувствовать.

Т.Г. Нефедова: Мы действительно за десять с лишним лет вписались в местную жизнь, дружим с бабушками, которые нас опекают, а мы им что-то привозим. И это очень важно. Я о них и о нас даже сделала фильм «Две жизни Нечерноземной глубинки». А жизни, действительно две, потому что дачное сообщество, весьма тесное, хотя и разбросанное по разным деревням, все равно слабо пересекается с местным, которое живет своими интересами.

Вот такое погружение у меня случилось. Отчасти и это подтолкнуло к тому, что мы прицельно занялись дачниками, такими мобильными горожанами, которые живут на два дома. Когда мы говорим о населении, мы, как правило, имеем в виду тех, кто зарегистрирован в том или ином месте. И статистика их показывает. Но приезжаешь в деревню и выясняешь, что до трети тех, кто зарегистрирован, в помине нет, они либо учатся, либо живут и работают в городе и лишь изредка приезжают, фактически они уже почти неместные. А с другой стороны, здесь живет другое, чем показывает статистика, население — это горожане-дачники. Есть горожане, которые живут круглый год, сознательно дезурбанизировались. Но это единицы. А дачников десятки и сотни. И на развитие сельской местности оказывает влияние именно то население, которое там живет, хотя бы летом, а не то, которое зарегистрировано. И понять эти процессы передвижения, пути влияния на сельскую жизнь этого в общем-то параллельного сообщества очень важно. Мы подали в Российский научный фонд проект изучения двух видов такой циклически возвратной пространственной мобильности: отходников (трудовых российских мигрантов), которые регулярно ездят из сельской местности и малых городов в большие, и дачников. Отходников изучают экономисты, социологи. Но нам важна была география: кто едет, откуда, почему уезжает, куда, почему он едет именно туда и т. д. И я набрала замечательную команду из десяти человек, имен-

но тех, кто хотел работать, из них шестеро — молодежь. Мы использовали всю имеющуюся жалкую статистику, сами объездили много регионов. Даже космические снимки пытались использовать, чтобы понять, какие деревни умерли, какие оживают только летом, где дачные поселки концентрируются. Последние тоже важны, потому что садовые товарищества — это параллельная система расселения в сельской местности. Ее нет на картах, а она оказывает сильное влияние на местное развитие, ведь эти товарищества часто гораздо крупнее, чем сельские населенные пункты. А при них магазины, их обслуживает местное население, там и стройки, и рабочие места. И этого никто не видит. В администрацию приезжаешь, начинаешь спрашивать про перспективы, отвечают — туризм. «Да какие туристы к вам придут? У вас же столько дачников, приезжают люди городские, с деньгами. Почему вы их не учитываете, не привлекаете?» — «Так это временные люди». Не любит власть дачников. Может быть, потому, что в дальние деревни чаще едут интеллигентные образованные люди, ими трудно управлять, с ними надо взаимодействовать. А то, что эти люди уже давно в эту сельскую местность вросли корнями, никто не хочет видеть. Мы и пытались все это понять и сделали еще одну книгу, которая так и называется «Между домом и... домом. Возвратная пространственная мобильность населения России».

А.М. НИКУЛИН: Да, я даже опубликовал на вашу книжку рецензию в «Социологических исследованиях».

Т.Г. НЕФЕДОВА: Сейчас нам продлили этот проект, но мы хотели бы расширить наше исследование, потому что, объездив разные регионы, особенно в Центральной России, мы лишний раз убедились, что судьба этих регионов и районов внутри них очень неоднозначна. Ведь у нас если издается какое-то постановление, то для России в целом. И власти совершенно не понимают, что в одном месте это сработает, а в другом обернется полной противоположностью и только ухудшит ситуацию. Или вообще нанесет вред. Унификация была и в 131-м законе «О местном самоуправлении». Как его там ни переделывали, но все равно это есть. Главное, из поколения в поколение воспроизводится централизованная унификация местного самоуправления по всей России.

Ничему опыт не учит. Сколько уже писали и социологи, и экономисты о последствиях советской политики неперспективных деревень. И все равно сейчас опять идет объединение поселений, сокращение социальной инфраструктуры. Я на примере Костромской области и других регионов вижу, как это усиливает отток населения. Нам все время говорят: «Вы пишете-пишете, а как вы влияете на власть?» Надо сказать, что в отличие от Узуна (я прочитала интервью Василия Якимовича с большим удовольствием¹), я ни-

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все
предложат»

1. Интервью опубликовано в журнале «Крестьяноведение». 2018. № 3.

как не влияю на власть, у меня таких возможностей нет. Хотя один опыт был, связанный с Центром изучения российских земель. Именно тогда, в 1993 году готовился указ Ельцина о том, что надо распустить колхозы численностью более 30 человек. И поскольку мы тогда общались с властью, мы решили попытаться объяснить, что будет, если такой указ выйдет. Мы поехали в тот самый район, где был Травкин — инициатор указа.

А.М. НИКУЛИН: А это Николай Травкин, прораб перестройки, был инициатором?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Травкин был одним из инициаторов. Там был хороший, крепкий колхоз. Мы прошли по всем бригадам, спрашивая: «Что будет, если ваш колхоз распустят?» Они говорили: «У нас нормальный колхоз. Зачем его распускать?» — «Но если будет такое постановление?» — «Да что было, то и будет. Мы будем числиться отдельными по бригадам, а работать будем, как работали. А иначе нельзя. Техника общая, помещение одно, все взаимосвязано. Хотят, чтобы была галочка, будто колхозы распустили, будет галочка». И мы от имени Центра написали специальное письмо, что нельзя этого делать огульно. Там, где колхозы недееспособны, они и сами распадаются. Но те, которые живы, не трогайте. Это был, пожалуй, единственный опыт влияния на власть. Указ, кстати, так и не вышел. Нет, у меня еще был один опыт в 2008 году: Александр Васильевич Петриков пригласил меня участвовать в разработке стратегии устойчивого развития сельских территорий.

А.М. НИКУЛИН: Это же сейчас официальная правительственная программа.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, но в последней ее разработке я не участвовала. А тогда я для этого проекта сделала районирование России по разным факторам, влияющим на развитие сельских территорий. Это не раз озвучивалось на разных совещаниях и тиражировалось в интернете. Так что понемногу мы все-таки внедряем понимание пространственных различий в рассуждения чиновников.

А.М. НИКУЛИН: Были ли у Вас попытки донести идею полимасштабности до власти, не только до ученых и читающей публики?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Все-таки я — исследователь. Я даже руководящих должностей стараюсь избегать. Руководство проектом с небольшим коллективом — это мое. Десять человек, с которыми мы в унисон работаем, это одно, а писать бумаги, ходить по кабинетам — не мое это.

А.М. НИКУЛИН: Чрезвычайно интересно. Мы сейчас прошли по некоторым основным интеллектуальным, исследовательским и проектным вехам Вашего жизненного пути. Но мне бы также хотелось спросить Вас о том, какие учителя, теоретические концепции, научные подходы оказали воздействие на Ваше понимание реальных сельско-городских процессов, которые в России проходили

и проходят сегодня. Ведь как говорил, кажется, Выготский: «Нет ничего практичнее хорошей теории».

Т.Г. НЕФЕДОВА: Как я говорила, область моих интересов гораздо шире, чем сельское хозяйство, я в своих исследованиях отталкиваюсь от более общих, чем чисто отраслевые, концепций. А поскольку мы занимаемся взаимодействием города и деревни, то более пристальное внимание обращаем на применение хорошо разработанной концепции дифференциальной урбанизации к России. И здесь очень важно разделять временные флуктуации и долговременный объективный ход процесса урбанизации, который проходят все страны, но в разное время. Мы с А.И. Трейвишем, опираясь на мировые теории и исследования хода урбанизации по России, написали не одну статью на эту тему, и показали, что урбанизация в России не завершена, в разных частях России эти процессы идут с разной скоростью. И сколько бы вы ни издавали указов, люди массово не поедут в деревню, пока не будут к этому готовы (разве только в экстраординарных обстоятельствах). Это очень важные вещи, но понимания этого нет. У нас порой говорят: «Давайте сделаем, как в Китае». Мы проехали Китай с севера на юг с заездом в Сиань, и я поняла, что то, что сделали китайцы, мы могли бы сделать, наверное, в первой половине XX века на другой стадии урбанизации. Но время упущено, и сейчас уже поздно. А следовательно, очень важна вторая ключевая концепция, связанная с ролью человеческого капитала, в том числе сельской местности. Человеческий капитал очень разный и зависит от степени депопуляции населения, связанной с историей освоения, природными предпосылками, этническим составом, удаленностью от больших городов. Поэтому третья важная концепция — большое значение для России имеют центрально-периферийные различия, связанные с относительно меньшей освоенностью огромной территории и редкой сетью больших городов, создающих вокруг себя очаги концентрации населения и развития экономики за счет обеднения периферии. Это не чья-то злая воля, это объективный процесс на данной стадии урбанизации в России. И проблемы периферии, как внешней, занимающей до 70% территории страны, так и внутренней, в освоенной части между городами (еще 15%), периферии, теряющей население, капиталы, с деградирующими поселениями, — это сейчас ключевая проблема для России.

Для сельского хозяйства, конечно, важны природные предпосылки. Недаром в постсоветское время производство сдвинулось на юг и активно там развивается. И это нормально. А то, что зерновые выращивали в Нечерноземье с урожайностью 5 ц/га и огромными дотациями — это было ненормально. По существу, спонтанно произошла своеобразная оптимизация по рыночным правилам. А вот то, что почти загубили целые отрасли, например, молочное животноводство на живых работоспособных предприятиях, это уже

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут и сами все предложат»

политика государства, и ее можно было при желании поменять. Гораздо труднее найти пути развития огромных периферийных нечерноземных пространств, в которых еще осталось население, после ухода оттуда убыточного колхозного сельского хозяйства. И мы не раз писали свои предложения. Но государство делает все наоборот, поддерживая лишь крупнейшие предприятия, объединяя поселения, сокращая социальную инфраструктуру, перекрывая кислород местным властям.

А.М. НИКУЛИН: Сейчас оптимизирует ситуацию в сельском хозяйстве рынок. Например, мы стали лидерами по экспорту зерна, нашли свою рыночную нишу.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Рынок — это жестко. Да, зерно есть. И агрохолдинги необходимы. В современных российских реалиях только такая вертикальная концентрация «сверху» от капитала способна накормить большие города и обеспечить экспорт. Но почему власти спокойно наблюдают за почти рейдерским захватом земель работоспособных предприятий (бывших колхозов) и фермеров? Зачем перекрывать кислород малому бизнесу? Это сказывается на всем: и на занятости сельского населения, и на экологии. Кстати, и на усилении пространственной мобильности населения, потому что зерновые предприятия не требуют столько занятых, сколько требовали советские колхозы, в которых было занято по тысячи человек. Трудоемкое молочное животноводство свернуто, и сейчас достаточно несколько механизаторов, десятка подсобных рабочих, и все. А села на юге — по несколько тысяч человек. Сфера услуг не развита и выявилось, что у нас, как это ни парадоксально, излишки сельского населения. Ничего не делается для малого бизнеса, хотя Юг, в отличие от Нечерноземья, долгие годы собирал мигрантов, там активные люди, товарные хозяйства, много фермеров, и они работают на рынок. Но нужны кредиты, и главное, сбыт. Разрушили советскую кооперацию, так сделайте оптовые рынки в каждом муниципальном районе. Не должен производитель стоять на рынке, он должен иметь возможность прийти и сдать свои продукты по приемлемым ценам. Эти цены можно немного дотировать. Население во многих районах, где сохранился человеческий капитал, готово работать, в том числе и в сельском хозяйстве. Ничего для этого не делается, все только на энтузиазме людей. Наоборот, вместо того, чтобы стимулировать занятость, начали борьбу с неформальной экономикой, хотя для многих, особенно в сельской местности, это единственный способ выживания.

А.М. НИКУЛИН: Вы упомянули целый ряд своих монографий, но те самые вопросы сельской России о том, какая она разная, — это уже Ваша книга 2011 года? В эту книгу Вы собрали все свои очерки, статьи, наблюдения последнего времени и определенным образом систематизировали их, показали, сколько их, этих разных путей, получается, может быть в одной сельской России.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Эта книга вышла в 2013 году. Я уже много лет читала лекции по географии сельской местности на географическом факультете МГУ и периодически в других организациях. В процессе поездок появилось много нового материала. Вот я и решила все это собрать и сделать в виде 10 лекций по разным проблемам сельской местности, ведь первые мои публикации немного устарели. Книгу назвала «Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа». Там есть много из того, о чем мы с вами говорили: и что такое современная сельская местность, и в чем причины неудач и успехов сельского хозяйства в разных районах, и как выживают люди на селе. Приводятся примеры разных районов: пригородов, нечерноземной периферии, южных районов. Есть даже сравнение с соседними странами.

А.М. НИКУЛИН: Упомяну еще один важный сюжет: мне кажется, Вы были первой, кто написал об этом статью в журнал «Отечественные записки» — «Нерусское сельское хозяйство». Интересен натиск мигрантов с Кавказа, Средней Азии, которые в некоторых случаях создают на так называемых исконно русских землях уже собственные поселения, собственное сельское хозяйство.

Т.Г. НЕФЕДОВА: Это отдельный сюжет, очень интересный. У нас не любят обсуждать эти вопросы. Было очень смешно, когда я спрашивала жителей Костромской области: «Как вы относитесь к мигрантам?» Они говорили: «Пожалуйста, пусть приезжают. Но только не китайцы», подразумевая любых выходцев из Азии. На самом деле проблема существует, особенно на равнинном юге, куда приезжают жители Дагестана, которым в республике не хватает земли. А в Ставрополье, например, можно в восточных засушливых или в предгорных районах получить участок, выпасать скот. Обследуя неоднократно эти районы Ставропольского края, мы наблюдали, как семьи приезжали с большим количеством скота и многими детьми. Но уже во втором поколении у них было 2–3 ребенка, и своих детей они точно так же, как и коренные сельские жители, пытались вытолкнуть в города, чтоб учились и там остались. Идет ускоренный процесс адаптации кавказского населения. Хотя, конечно, проблемы существуют. Но они не только этнические. У нас часто все сводят к этническим и религиозным проблемам, но есть и хозяйственные, которые хорошо видны на равнинном Северном Кавказе. Там же люди разных национальностей бок о бок жили очень долго. И в ставропольских русских селах чабанами в колхозах на северо-востоке и востоке работали чеченцы и даргинцы. Просто они умеют это делать лучше. А теперь отгонное колхозное животноводство практически умерло, ведь гоняли скот очень далеко в горы или в Калмыкию. Остался частный скот, который выпасается вокруг сел, где пастбища вытоптаны. И вдруг в эту систему вливается дагестанская семья, которая привозит с собой

*Т.Г. Нефедова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все предложат»

20 голов крупного рогатого скота и 40 голов овец. И тоже выпасает его на этих выбитых пастбищах. Начинается некое напряжение, потому что бабушки, а за ними и администрация, говорят: «У нас по одной корове в семье, а ты со своими двадцатью иди подальше от села». Это уже проблема. Более того, оставшиеся колхозы, в том числе выращивающие фрукты, виноград, когда им не хватает денег, приглашают работников из Средней Азии, которым можно меньше заплатить и которые настроены на то, чтобы быстро выполнить работу и уехать. А местное население сидит без работы. Опять начинается волна социального напряжения. И русское население активнее уезжает в города, и чем больше приезжают из кавказских республик, тем активнее русская молодежь уезжает. На востоке края идет смена населения, даже за последние 10 лет это очень заметно.

А.М. НИКУЛИН: Тогда, пожалуй, такой заключительный вопрос, о Ваших дальнейших планах. Какие поля для исследования у Вас еще остаются на перспективу, чем бы еще хотелось заняться?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Мы подали в РНФ заявку на новый проект по староосвоенным районам. Такая тема была в Институте географии в 1980-е годы, и тогда было очень много всего сделано. Были выделены эти районы, прослежена их эволюция. Мы хотим эту тему продолжить, опираясь на уже имеющийся потенциал, понять, что изменилось за 25–30 лет, как соотносятся исторические факторы развития с современными. Ведь староосвоенные районы тоже очень разные. А наследственность очень хорошо видна, нас поразило это, например, в Пермском крае. Мы приехали в очень удаленный район бывшего Коми-Пермяцкого АО и вдруг увидели на фоне общей разрухи очень крепкие деревни. Это не зависело ни от природных условий, ни от этнического состава. Просто это было место высылки кулаков в первой половине прошлого века. Их поднимали на баржах по реке и выбрасывали в тайгу. Не все выжили. Но если выжили, то создали такие хозяйства, что даже при смене поколений (там уже их внуки живут) они разительно отличаются от окружения. В целом все эти факторы вместе: и историческое наследие, и природные условия, и степень депопуляции, влияющая на человеческий капитал, и этнический состав, и географическое положение на оси «пригород–периферия» — все это вместе создает колоссальное разнообразие. И когда все эти факторы пытаешься, как мозаику разложить и вновь сложить, начинаешь понимать, какие в том или ином месте существуют возможности и ограничения развития. Конечно, детерминированности нет, можно выскочить из этого «коридора», если найдутся энтузиасты. И такие случаи есть. Но мы говорим о массовых, типичных явлениях.

А.М. НИКУЛИН: Иными словами, Вы исследуете некие корни социального капитала, такую их историко-природно-культур-

ную композицию на конкретном месте, то, как это все будет там сочетаться?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Да, можно и так сказать. Мы пытаемся понять некие географические закономерности через сочетание разных факторов в разных местах. Природа здесь — лишь один из факторов. Есть еще пригород–периферия и много чего другого. Поэтому все к природе нельзя сводить. Потенциал складывается из разных факторов.

А.М. НИКУЛИН: Хорошо, а исторически о староосвоенности речь идет буквально в границах Московского царства Ивана III? Или в более широком плане?

Т.Г. НЕФЕДОВА: В более широком плане, конечно.

А.М. НИКУЛИН: Это Нечерноземье Северное, Южное, от Вологды до Рязани, или это еще дальше?

Т.Г. НЕФЕДОВА: Пожалуй, от Вологды, но не до Рязани, а до западной части Центрального Черноземья. С Запада на Восток — от Смоленска до Урала. Важно понять, что происходит с этими районами, ведь они, пожалуй, одни из самых проблематичных. А с другой стороны — здесь крупные агломерации. Здесь самая активная трудовая мобильность населения, множество дачников, огромное культурное наследие, которое жаль потерять. Очень важно понимать, какие резервы и ограничения существуют в разных районах. Все вместе это очень интересно.

А.М. НИКУЛИН: Тема актуальнейшая. Удачи Вашему новому проекту и спасибо большое!

*Т.Г. Неведова,
А.М. Никулин*
«Работать надо,
и тебя найдут
и сами все
предложат»

“You have to work, and they will find you and will offer you everything”

Tatyana G. Nefedova, DSc (Geography), Chief Researcher, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences; 119017, Moscow, Staromonetny per., 29. E-mail: trene12@igras.ru.

Alexander M. Nikulin, PhD (Economics), Head of the Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; 119571, Moscow, Prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: harmina@yandex.ru.

In her interview, Tatiana Nefedova, a Chief Researcher at the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, tells about her research interests that had formed already in childhood and brought her to the geographical faculty of the Moscow State University, and about her further professional development. As a true geographer, the author traveled a lot all over Russia and the world, participated in different interdisciplinary geographical projects, and at first they were not agricultural. Nevertheless, T.G. Nefedova made a significant scientific contribution to the study and development of rural post-Soviet Russia. At the same time her cross-cultural comparative studies of rural Russia and other countries of the world — Europe and Asia — are no less important. In her interview, she also focuses on various methods to study the spatial development, on the perception and reflections on the poly-scale nature of space, on the diversity of regionality as the most important factor of rural development, and on the ratio of quantitative and qualitative research methods. One of the special topics of the interview is the relationship of the scientist and the authorities. Should a scientist seek power and strive to in-

fluence the state decision-making with his findings despite the threat of turning from a scientist into a politician or an official? In conclusion, new plans and projects of geographical studies of rural Russia are discussed, for instance, the study of such a combination of factors of social development as the long-inhabited territories, social capital, social mobility, agglomerations, summer residents, and cultural heritage.

Key words: geography, regions, rural Russia, research methods, rural households, social capital, agglomerations

Примат общественного над личным, или Российская деревня через юридическо- антропологическую оптику Владимира Безгина

Рецензия на книги: Безгин В.Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. М.: Common Place, 2017. — 334 с. ISBN 978-999999-0-25-7; Безгин В. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. М.: Ломоносов, 2017. — 248 с. ISBN 978-5-91678.

В.М. Рынков

Вадим Маркович Рынков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН, 630090, Новосибирск, ул. Николаева, д. 8; доцент, Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2. E-mail: vadsvet@list.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-143-156

В современной российской академической среде существует устойчиво высокий интерес к изучению традиционного общества во всех его проявлениях. Полиэтническое и поликонфессиональное прошлое и настоящее российского социума является благодатным полем для реализации исследовательских возможностей. Социологи, этнологи и этнографы, юристы и историки добились в последние годы впечатляющих результатов. *Peasant Studies* представляют удачную программу междисциплинарного синтеза именно этим, а не только преобладанием крестьянства в структуре российского и советского до середины XX в. общества, объясняется сфокусированность большинства исследований на изучении крестьянства как основного носителя традиции.

Владимир Борисович Безгин, безусловно, относится к кругу ведущих исследователей российского крестьянства второй половины XIX — начала XX века. В широкий круг его научных интересов всегда входило изучение сельских обычаев и деятельности крестьянских судов. Двигаясь им же самым давно проторенными путями, он обобщил результаты многолетних исследований сразу в двух монографиях¹.

1. *Безгин В.Б.* (2017). Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. М.; *Безгин В.* (2017). Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. М.

Структура монографии «Мужицкая правда» представлена четырьмя главами, воплощающими замысел книги. Первая глава посвящена вопросам историографии, источникам и анализу теоретических споров вокруг феномена обычного права. Вторая глава называется «Правовые обычаи в повседневности села», но на самом деле ее содержание несколько уже. Если ее интерпретировать в терминах современного правоведения, скорее укладывается в понятие ключевых аспектов гражданских правоотношений: землепользование, имущественные, обязательственные отношения, опека и усыновление. Уголовному преследованию в обычном праве посвящена третья глава. Последняя, четвертая, глава содержит сведения об особенностях судопроизводства у русских крестьян. Богатый научно-справочный аппарат монографии содержит 1086 отсылок к архивным материалам, научным исследованиям, публицистике, мемуарам и художественной литературе.

Опубликованная рецензия на монографию о повседневном мире крестьянки позволяет опустить ее формальную и содержательную характеристику и остановиться только на тех ее аспектах, которые связаны с обычным правом². По тематике эта книга далеко не ограничена обычным правом, широко охватывая разнообразные аспекты женской повседневности. И в то же время укоренение традиций в русской деревне происходило при помощи их санкционирования крестьянским социумом, что вело к юридизации обыденной жизни. Быт становился средой, где зарождались правовые обычаи, и через анализ бытового уклада оказываются понятны их функции. Следовательно, проблема обычного права — сердцевина изучения повседневности, что очень четко прослеживается в исследовании В.Б. Безгина.

Для обеих его книг характерно тонкое переплетение юридической антропологии и этнографии. В первой акцент делается больше на мужскую тематику, что оправдано гендерными ролями мужчины как основного крестьянского работника, хозяина в доме, исполнителя договоров и судьи. Автор не намеревался специально ограничивать свой взгляд на обычное право, но объективно существующий разворот в сторону «мужика» отрефлексирован в названии. Вторая книга целенаправленно дает другой, женский, срез исследуемой им проблематики. Всегда интригует, если мужчина берется за изучение гендерных аспектов, но именно такой взгляд на «женскую долю» и дает надежду на большую объективность анализа знатока, но не адепта.

Если учесть существование целого ряда монографий и диссертаций, посвященных близкой тематике, невольно возникает вопрос, в чем же новизна исследования, проведенного Безгиным. Справед-

2. Лаужина Г.В. (2017). Безгин В.Б. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. М.: Ломоносов, 2017 // Гуманитарные исследования Центральной России. № 1(6). С. 52–56.

ливости ради признаем, что многие положения не являются совсем уж новыми, более того, в результате длительной дискуссии стали общепринятыми в узкоспециализированной отечественной историографии. Но у Безгина есть свое особое место среди специалистов по обычному праву русских крестьян, неповторимый стиль работы с историческими источниками и манера подачи материала читателю. Т.В. Шатковская в многочисленных своих публикациях раскрывает феномен обычного права русских крестьян с помощью теоретико-правового инструментария, многие исторические проблемы ею только лапидарно намечены. Л.И. Земцов сделал акцент на функционировании судебной системы крестьян. Практика волостных крестьянских судов, ставшая материалом для его исследования, далеко не тождественна обычному праву, о чем будет подробнее сказано чуть позже.

В исследовании Безгина читатель найдет особый, целостный, можно даже сказать, соборный взгляд на изучаемую проблему. Он проанализировал внутреннюю организацию обычно-правовой подсистемы крестьянского социума, вписав ее в контекст сельской повседневности, рассмотрел свой предмет в динамике, показав факторы, под влиянием которых трансформировалась традиция. И в этом смысле он решал классические для историка задачи. Междисциплинарное по методам и источниковой базе, его исследование в целом осталось в поле исторической науки. Кроме того, в обеих рецензируемых монографиях представлен достаточно полный географический срез крестьянских традиций, подчас доходящих до амбивалентности. С середины 1850-х до 1920-х гг. в отечественной науке закрепилась практика углубленного, часто монографического изучения обычного права крестьян отдельных губерний, даже уездов. В современной историографии исследования, как правило, проводятся с опорой на материалы определенного, хотя порой довольно крупного региона. Безгину же удалось преодолеть извечный историографический локализм, причем значительную часть материала подать в объяснительном ключе: не просто констатировать различие, существовавшее в правоприменении в разных местностях для сходных случаев, но и вскрыть причины таких различий. Наконец, что очень важно, значительная часть исследователей, работая в государственно-правовой парадигме, основным фактором трансформации обычного права считала государственные реформы. В рецензируемых книгах ключевым предстает изменение уклада жизни под влиянием технического прогресса, развития городов и индустриального сектора экономики, роста миграций. Реформы могли влиять на темпы данных процессов, но не определять их генеральную линию, следовательно, являлись фактором вторичным.

Несомненно, новизна этим не ограничивается. Главная новация состоит в совмещении истории права и этнографии. Такое соседство во многом определили историографические основания и источниковая база исследований Безгина. Не столько анализ литерату-

ры, кратко и емко данный в первой главе одной из его монографий (1, с. 12–38)³, сколько оба текста в целом свидетельствуют о наличии трех историографических опор. Во-первых, это теоретико-правовые труды, которые, нужно отдать должное, Безгин проследил единым потоком от дореволюционных историков и теоретиков права до советских исследователей крестьянского правосознания и современных концепций обычного права и его отдельных составляющих. Во-вторых, это исследования по истории правовых обычаев крестьянства России, сельских и волостных судов. В-третьих, это этнографические публикации второй половины XIX — первой трети XX века. Не умаляя заслуг предшественников, Безгин убедительно показал, что в последнее двадцатилетие российская историография совершила настоящий прорыв и в накоплении фактического материала по истории обычного права, и в его концептуальном осмыслении. В рамках одной монографии невозможно даже просто упомянуть всю огромную литературу по данному вопросу. Потому важна не полнота, а достаточность историографической базы — качество, присущее обем монографиям.

Заявив целью своего исследования изучение русских крестьян, автор широко трактует это понятие. У него присутствуют материалы о русских крестьянах не только центральной части страны, но и Севера, Урала, Сибири, о сельских жителях некоторых народов Поволжья (кстати, вопреки названию книги). Длительное совместное проживание с русскими и сходный образ жизни позволили включить их в объект исследования. Нельзя не оставить без внимания тот факт, что особенно ощутимых успехов в изучении обычного права добились исследователи из национальных автономий Российской Федерации. Очевидно, что у российского крестьяноведения, так же как и у антропологии права, есть большие перспективы выхода на сравнительно-исторические параллели посредством более активного привлечения материалов разных народов, населявших Российскую империю. Эта мысль кажется значимой именно в контексте знакомства с первой главой монографии об обычном праве русских крестьян Безгина, в которой подобных сравнений недостает. Когда автор пытается классифицировать соотношение обычного права и закона применительно к русскому крестьянству, более широкий полиэтничный контекст и учет результатов исследований обычного права других народов позволял бы усилить и фундировать выводы. Тогда взаимодействие русского правового обычая и официального законодательства окажется лишь одним из возможных вариантов.

Что касается источников, то ключевую роль Безгин отводит этнографическим. Изданные и архивные материалы собирателей на-

3. Сокращенный и одновременно подновленный вариант части данной главы опубликован автором позже: *Безгин В.Б.* (2018). Обычное право и волостной суд: современное состояние изучения проблемы // *Право: история и современность.* № 1. С. 7–15.

родных обычаев предстают на страницах книги во всем богатстве и многообразии и не оставляют сомнения в том, что этнографами второй половины XIX — первой четверти XX века была проделана колоссальная работа по сбору фактического материала, только сейчас по достоинству отмеченная, но, как мне кажется, довольно редко по-настоящему используемая в современных исследованиях. Между тем автору именно это богатство позволило резко расширить географические рамки исследований, показать широкий спектр правовых обычаев, существовавших в разных местностях по случаям, схожим с точки зрения юридических фактов. Капитально проработав фонды Государственного архива Тамбовской области, Безгин всегда имеет возможность показать преломление любых обычно-правовых практик в сопоставлении с обычаями, принятыми у тамбовских мужиков.

Среди законодательных источников в пору пришлось сенатские определения. Привлекая их, Безгин убедительно доказывает, что судебная практика конца XIX века вынуждена была считаться с обычаями крестьян, а в ряде вопросов наследственного права инкорпорировала обычай в позитивное право, допуская в том числе и вариативность применения некоторых норм в зависимости от укorenившихся на местах способов разрешения конфликтов крестьянскими судами (1, с. 47–48, 59). Напротив, крестьяне могли проигнорировать законодательную новеллу, если она противоречила сложившейся обычно-правовой практике (1, с. 57). В брачном праве крестьян также всегда господствовал обычай, в какое бы он ни входил противоречие с нормами законодательства. Огромную ценность имеют наблюдения Безгина о совпадении крестьянского обычного права и законодательства в отношении государственных преступлений и преступлений против веры. Крестьянское правосудие в них не вторгалось, отдавая подозреваемого на суд государственный. Зато во всем, что связано с суевериями и магией, крестьянское правосудие опиралось на обычаи, полностью игнорируя нормы закона.

Фундаментальные научные проблемы, такие как соотношение закона и обычая, закона и справедливости, преступного и нравственного поведения в крестьянском правосознании, Безгин исследует на основании конкретных ситуаций, возникавших в крестьянских мирах Российской империи. Именно такой подход позволяет констатировать наличие двойных стандартов в оценках крестьянами целого ряда правовых ситуаций. Решение судебных органов напрямую зависело от того, принадлежал правонарушитель к крестьянскому миру или «чужой» социальной группе (1, с. 77). В результате мелкое надувательство «чужих» не считалось правонарушением, тогда как обман «своих» трактовался как преступление.

В каждой из рецензируемых монографий достойное внимание уделяется анализу брачных традиций. Приведенный автором материал свидетельствует в пользу традиционного в отечественной ис-

ториографии взгляда на господство ранних браков в крестьянской среде и широкое распространение браков подростков, почти мальчиков, с более старшими девушками. Все это противоречит приводимой Б.Н. Мироновым статистике, по которой средний возраст вступления крестьян в брак был достаточно солидным⁴.

Вступавший в брак крестьянин не просто совершал круговорот обставленной множеством ритуалов семейно-брачной мобильности. Это движение имело и строго юридическое закрепление в обычно-правовой практике: право на земельный надел, на участие в сходах; восхождение во внутрисемейной иерархии — своеобразное подобие негласной крестьянской «табели о рангах». Примечательно, что утратившие трудоспособность старики и старухи сохраняли авторитет именно как носители знаний о традициях (2, с. 30). И уже с полной очевидностью юридические нормы проявлялись в таких последствиях брака, как семейные разделы, порядок ухода за престарелыми и сиротами. Даже в семейном обычном праве эволюция шла не столько под влиянием природно-географических факторов и этнокультурного окружения, сколько как результат интеграции в крестьянскую жизнь капиталистического уклада. Безгин приводит тому многочисленные свидетельства, неоднократно акцентируя внимание на углублявшихся различиях в брачно-семейных нормах промысловых регионов с господствовавшим отходом и местностями, где сохранялось преобладание земледельческого уклада.

Довольно внятные очертания в монографиях Безгина приобретает сложнейший вопрос о праве собственности на имущество домохозяйства и на землю. Распоряжение имуществом имело трехуровневую структуру: глава дома (большак) осуществлял оперативное управление, ограниченное, однако, общей волей взрослых членов семьи, заручиться которой следовало при решении судьбоносных вопросов. Если вопрос стоял о платежеспособности домохозяйства, то мог вмешаться сход, ограничивая при необходимости право большака по распоряжению имуществом двора. Современному человеку это может напомнить отношения между управляющим компании, собранием акционеров и государством, имеющим возможность ввести кризисное управление. Но за таким внешним сходством скрываются фундаментальные различия. Поэтому Безгин аргументированно настаивает на восприятии семьи как артели. Именно трудовой вклад в накопление общесемейной собственности открывает право на долю имущества и на участие в решении его общей судьбы. Неспроста приемные дети становились полноправными наследниками, а родные, не принимавшие участия в общем труде семьи, лишались такого права (2, с. 62–63, 86). Вся логика наследственного права объясняется с точки зрения максимального сохранения трудового потенциала крестьянских семей. Разделу

4. *Миронов Б.Н.* (2003). Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). В 2 т. Т. 1. СПб. С. 167–169.

не подлежали те части имущества, без которых невозможно было поддерживать полноценное хозяйство.

Приводимый автором материал по уголовному праву свидетельствует об амальгаме крестьянских правовых обычаев, официально-церковного регулирования морально-нравственного состояния общества. Крестьянская традиция функционировала как распределяющий механизм. Когда крестьяне считали санкции писаного закона неоправданно мягкими, они вершили коллективный самосуд. В ряде случаев крестьянское сообщество передавало право на вынесение санкций церкви. К таковым можно отнести убийство по неосторожности. Мелкие имущественные преступления часто до судов не доходили, а разрешались путем индивидуального самосуда. Судьями и исполнителями выступали родственники, соседи или односельчане, заставшие преступника с поличным.

В обычно-правовой практике в связи с тяжкими преступлениями особенно заметна «вековая седина», восходящая к «Русской правде» и доказывавшая, что первоосновы крестьянского обычного права закладывались много веков назад и неизменно считались крестьянами разумными. Чего стоит только возможность убийцы «замричься» с родственниками убитого, выплатив им отступное (как не вспомнить «головщину»). Недопустимость такого исхода в судебной практике общих судов, к компетенции которых убийства и относились, вела к тому, что в случае мировой сделки преступление скрывалось от властей (1, с. 158). Убийство в драке считалось в народе убийством по неосторожности. В рецензируемых монографиях читатель найдет еще немало других примеров обычно-правовых норм, известных по записям древнерусского права.

Ценнейший материал приведен о мелких правонарушениях. В крестьянском правосознании угрозы и словесные оскорбления приравнивались к совершенному деянию, что, находясь в полном противоречии с писанным правом, отразилось и в практике сельского судопроизводства (1, с. 174–175). Почти по всем мелким преступлениям имущественного характера и против чести наказанием становилось материальное возмещение, приветствовалось примирение сторон, которым подчас завершалось до половины всех волостных судебных дел (1, 189). Для укрепления морального климата в общине суды эффективно использовали общественные работы и позорящие наказания, на которые крестьяне были весьма изобретательны в каждом конкретном случае (1, с. 298; 2, с. 103–106). Тексты монографий позволяют выявить и специфику ювенальной обычно-правовой юстиции: родитель всегда вправе наказывать своих детей. Если наказание не создавало угрозы жизни ребенка, оснований для включения общинных механизмов защиты от насилия не возникало (1, с. 177). С гендерными особенностями семейного насилия сложнее. С одной стороны, побои мужьями жен за любую провинность и даже просто для острастки — широко укоренившаяся в деревне практика, с другой — волостные суды очень часто становились на сторо-

В.М. Рышков
Примат общественного над личным, или Российская деревня через юридическо-антропологическую оптику Владимира Беагина

ну пострадавшей, наказывая не только непосредственного обидчика, но и старших в семье, допустивших сверхнормативное насилие. Кстати, если детально разбираться в волостной судебной практике, можно обнаружить ту границу, за которой «нормальный» уровень внутрисемейного насилия, регулировавшийся как социальная норма, оказывался превышенным, и требовалось подключение обычно-правовых юридических регуляторов.

Большое внимание Безгин уделил и практике сокрытия преступлений от правосудия. Крестьянские суды не выносили смертных приговоров, зато существовала практика «смертоубийственных» самосудов за тяжкие преступления, скрываемые общиной от правосудия (1, с. 258–274). Примечательно, что помимо широко известных расправ с конокрадами и поджигателями, зафиксированных в древности как нормы писанного права, Безгин пишет о воровстве пчел и приводит многочисленные данные о расправах над лицами, заподозренными в колдовстве. В последнем случае возникает презумпция виновности. Крестьянский социум предпочитал забывать о лицах, подозреваемых в способностях производить негативные магические действия, не разбираясь в доказательной базе (1, с. 191; 2, с. 101–102). Очень детально освещена Безгиным особая женская крестьянская обрядность. Нарушителей укоренившегося ритуала постигало возмездие, которое в крестьянском правосознании воспринималось как вполне правомерное наказание (2, с. 121–123). Безгин выступает против трактовки крестьянских групповых самосудов как произвола и дикости, доказывая функциональность их как особой формы правосудного возмездия за деяние, несущее опасность не отдельной личности, а крестьянскому миру в целом.

Деяния, преследовавшиеся государственными судами, если по ним произошло примирение сторон, также укрывались сельским миром от коронного правосудия. Многие мелкие имущественные преступления, строго преследуемые государственным правосудием, вполне укладывались в крестьянские представления о допустимых и морально оправданных деяниях. К таковым можно отнести мелкие кражи сельского инвентаря; вещей, за которыми владелец не доглядел; кражи у лиц, не принадлежащих к крестьянскому миру и, следовательно, не подрывавших внутренних сельских устоев, и кражи у помещиков и богатых односельчан, являвшихся частью эгалитарных механизмов имущественного уравнивания (1, с. 189–195). Последнее лишний раз доказывает, что концентрацию богатства в руках немногих крестьяне рассматривали как страховую имущественный запас на случай обострения нужды⁵. Потому рост преступлений против собственности в конце XIX — начале XX века можно рассматривать не как разложение моральных устоев, а, на-

5. Люкшин Д.И. (2006). Вторая русская смута: крестьянское измерение. М. С. 52–53.

против, как срабатывание традиционных соционормативных механизмов в условиях перегрузки.

Безгин вскрывает и особые женские тактики ухода от ответственности. В каждой из монографий приведены убедительные свидетельства, что, боясь брать на себя тяжкий грех детоубийства, крестьянские женщины обходились с внебрачными или нежелательными детьми намеренно плохо, и младенцы умирали от болезней, с которыми другая мать могла бы справиться. Подозрительно частыми также были случаи, когда матери придавливали насмерть новорожденных во время сна, что наталкивает на мысль о намеренном убийстве, доказать которое невозможно. Автор называет и причину такого поведения матерей: внебрачные дети становились в деревне изгоями, а их матери подвергались всеобщему осуждению, что и порождало желание избавиться от дитя, не вызывая подозрений в намеренности деяния (1, с. 163–164; 2, с. 173).

Безгин вообще фокусирует взгляд на преступлениях гендерного характера: побоях, убийствах близких родственников, супружеских изменах и кровосмесительных связях. Именно по этой причине обе монографии, частично пересекаясь, хорошо взаимно дополняют друг друга. В то же самое время данное обстоятельство наталкивает на мысль, что автором здесь допущен некоторый перекокс. Меньше укорененными в этнографическом материале, более теоретизированными получились те части монографий, где подвергаются анализу имущественные правонарушения, а также земельное право.

Что касается последнего, оно рассмотрено автором скорее как один из разделов имущественных правоотношений, но не как самостоятельная отрасль обычного права. Конкретика здесь предполагает обращение не столько к практике волостных крестьянских судов, к компетенции которых относились только земельные конфликты между дворохозяевами, сколько к материалам сельских и волостных сходов. Совершенно очевидно, что многообразие традиций коренных и частных земельных переделов, особенностей пользования различными видами земельных угодий юридизирована, и именно юридически обоснованные решения уполномоченных с точки зрения сельских жителей органов становились источниками, на основе которых крестьянские суды разрешали и частные конфликты. Существует внушительная научно-исследовательская литература о традициях землепользования в России, и у данной темы имеется самостоятельная весьма обширная источниковая база. Полноценное ее рассмотрение потребовало бы минимум отдельной главы. Но это было бы вполне оправданное приращение объема. Углубленный экскурс в данную проблему позволяет и дифференцировать зависимость хозяйственных норм обычного права от природно-климатических и государственно-политических факторов, и показать широчайший спектр норм обычного права на просторах необъятной «Крестьянороссии». Имеющийся историографический

В.М. Рышков
Примат общественного над личным, или Российская деревня через юридическо-антропологическую оптику Владимира Безгина

задел по данной тематике свидетельствует о наличии серьезных исследовательских лакун, связанных с обычно-правовыми механизмами регулирования соотношения между видами сельскохозяйственных занятий. В дальнейшей детализации нуждается, к примеру, вопрос о роли общины и соседского сообщества в организации разных видов работ, включая традиционно женские коллективные. При всем многообразии литературы по проблемам крестьянского землепользования, мало кто из авторов пытался рассматривать его именно как часть обычного права и, следовательно, обращал внимание на механизмы юридизации традиций, иерархию способов разрешения конфликтов. Имеющиеся наработки в лучшем случае ограничены региональными рамками и напрашивается их обобщение, вполне отвечавшее духу задуманного Безгиным исследованием. Тем более что сам он в предшествующие годы опубликовал немало работ по данной теме на материалах Центрального Черноземья⁶.

В обеих монографиях Безгина, основанных преимущественно на дореволюционном материале, есть небольшие «заходы» в советские этнографические публикации первого десятилетия. В этой связи нельзя не отметить еще одну актуальную научную проблему, оставшуюся вне поля зрения исследователя. В предреволюционный период существовала общая практика разделения земли по мужским душам в отдельных регионах, и только в виде исключения женщины получали право на земельный надел и даже на участие в сходе при условии ведения ими самостоятельного хозяйства. В ходе аграрной революции произошел резкий и почти повсеместный переход к разделу земли на все взрослое сельское население. После Гражданской войны наблюдался частичный «ренессанс» практики распределения земли только на мужчин или даже на «ревизские души»⁷. Как во всех этих перипетиях «черного передела» функционировали обычно-правовые регуляторы? Почему при всей традиционности крестьянского правосознания большинство общин в одночасье «впустили» женщин в число землепользователей наравне с сильным полом? Для ответов на эти животрепещущие в све-

-
6. *Безгин В.Б.* (2002). Земельные иски в материалах волостных судов Тамбовской губернии // *Землевладение и землепользование России (социально-правовые аспекты): XXVIII Сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы*. Калуга, 24–28 сент. 2002 г. М. 116–118; *Безгин В.Б.* (2009). Крестьянская аренда земли в губерниях Центрального Черноземья конца XIX — начала XX в. // *Государственная власть и крестьянство в конце XIX — начале XX в.: II Междунар. науч.-практ. конф.* Коломна. С. 18–22; *Безгин В.Б.* (2012). Крестьянство Центрального Черноземья в аграрных преобразованиях П.А. Столыпина (региональные особенности) // *П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: Междунар. науч.-практ. конф.* М. С. 306–323.
7. *Иванов А.А.* (2010). Аграрные преобразования в России в 1917 — начале 1920-х годов: Источниковедческие очерки (По материалам Среднего Поволжья и Приуралья). Йошкар-Ола. С. 194–196.

те недавних юбилеев вопросы нужно исследование трансформации обычного права. Знакомство с недавно опубликованными монографиями Безгина в этом лишней раз убеждает и зовет к расширению хронологических рамок исследования обычного права крестьян.

Но вернемся к основной теме в обозначенных Безгиным тематических и хронологических границах. Анализ суда и особенности процессуальных норм русских крестьян рассмотрены в отдельной главе соответствующей монографии, но информация по данной проблеме щедро и вполне уместно рассредоточена и по другим главам. Крестьянское правосудие действовало как эффективный социальный фильтр, подправлявший недостатки коронных судов в случаях, если предусмотренные в законодательстве санкции по меркам крестьянского правосознания казались слишком жестокими или, напротив, слишком мягкими. В обоих случаях виновники укрывались от судебного преследования: в первом случае освобождались от ответственности, а во втором, наоборот, отдавались на праведную народную расправу.

Принципиально важна подспудно проводимая Безгиным мысль: волостные крестьянские суды оставались лишь вершиной айсберга деревенских конфликтов, регулировавшихся нормами обычного права. В части своих решений они только санкционировали постановления семейных судов и, следовательно, не являлись органом, самостоятельно выносившим вердикты (1, с. 245). Широкое распространение имела не отраженная в писанном праве практика создания сельских судов для разрешения конфликтных ситуаций, утверждения таких решений сельским сходом. Староста, принимавший дела к рассмотрению в волостных судах, предлагал варианты примирения сторон, то есть на деле оказывался первой, досудебной, правосудной инстанцией (1, с. 244–247). Автор фиксирует тот факт, что имел место рост правоспособности женщин на исходе имперского периода, успешно отстаивавших в волостных судах свои имущественные и личные права, в том числе и перед родственниками, опираясь именно на нормы обычного права (2, с. 93–101).

На основании анализа сводки высказываний крестьян и правоведов о волостных крестьянских судах Безгин формулирует важный тезис: судьи, вынося то или иное решение, руководствовались часто не обычаем, а здравым смыслом и обыденным понятием о справедливости. После 1889 года волостные суды принимали многие решения, опираясь на российское законодательство, а не на обычай. В большинстве судов делопроизводством заправлял волостной писарь, а в ряде случаев он имел влияние на принятие решений. Часть приговоров и вовсе не вносилась в книги (1, с. 281–285). В результате практику волостных судов лишь с большой осторожностью можно рассматривать как источник обычного права русских крестьян. Но в целом она соответствовала крестьянскому правосознанию и может трактоваться как одно из его проявлений.

Процессуальные нормы дольше сохраняли печать крестьянских правовых традиций. Многие использовавшиеся крестьянами приемы сбора доказательств известны именно по древнейшему праву поиска улик потерпевшим, повальный обыск, вызов лиц, свидетельствующих о репутации сторон (в древности послухов), широкое использование устной клятвы как доказательства. В системе доказательств, принимаемых крестьянскими судами, фигурировали приметы, сравнимые с архаичными ордалиями. Можно отметить и замену древних пережитков их более модернизированными суррогатами. Крестьяне широко пользовались правом удаления из общины совершивших тяжкие преступления и лиц антиобщественного поведения (1, с. 252–253). На основании приговора сельского общества крестьян направляли в ссылку. Что это как не осовремененный и гуманизированный вариант «потока и разграбления»? Широко практиковавшиеся избияния преступников, прежде чем передать их в руки правосудия, нередко в присутствии членов сельской администрации, преследовали не только цель устрашения и возмездия, но и позволяли зримо проявить социальную солидарность общины и одновременно становились действенным средством профилактики аналогичных преступлений (1, с. 263, 269). Автор отмечает также и обязательную публичность телесных и позорящих наказаний как в случае осуждения по решениям волостных и сельских судов, так равно и при реализации права на разрешение семейного конфликта. Это делалось и для острастки окружающих, и чтобы удостоверить точность исполнения приговора. Полифункциональным являлось и взимание штрафов, измеряемое не только в денежном выражении, но подчас в ведрах водки. Виновник не только нес материальные издержки, но и компенсировал потерпевшему или вовлеченным в процессуальные действия членам общины моральную напряженность, а сам обряд совместного распития символизировал замирение сторон при посредничестве членов суда или более широкого круга участников празднования. Некоторые гражданско-правовые практики русских крестьян также восходят к временам «Русской правды». Давно изгнанные из писанного законодательства, они так и остались частью крестьянской обычно-правовой жизни. К таковым, например, можно отнести приравнение словесного и письменного изъявления воли наследодателя (1, с. 49), так же как и сужение круга наследников ближними родственниками, делящими общий круг и ведущими одно хозяйство.

Безгин высказал некоторые идеи, весьма ценные в плане теоретического понимания соотношения обычного и писанного права в последние десятилетия существования Российской империи. Он, в частности, акцентировал внимание на существовавшем в крестьянских судах принципе принимать решения, всегда глядя не только на обстоятельства, но и на личности обвиняемого и потерпевшего, их репутацию (1, с. 289–290). В коронном правосудии учет личности участников судебного процесса вошел в практику лишь поре-

форменного суда и воспринимался в то время как величайшее достижение прогресса юридической мысли.

Можно отметить, что помимо анализа судебной системы исследователь неоднократно подчеркивает серьезную роль общинных институтов по профилактике преступлений. Сход имел обыкновение брать под свой контроль семьи, конфликты в которых повышали вероятность криминального исхода: побои, измены, внебрачные беременности. К контролю подключались соседи, а ответственными за благополучное разрешение конфликта назначали старших в семье или весь ее состав в целом. Жаль только, что в тексте монографий отсутствуют сведения о том, как такой контроль проводился на практике, поддерживался в повседневной жизни и как распределялась ответственность, если все же правонарушение произошло. Возможно, об этом просто умалчивают источники.

Странно, что нигде прямо не сформулирован вывод о том, что многие материальные и процессуальные нормы древнерусского права являлись частью обычного права русских крестьян до пореформенного времени — Безгин делает в тексте множество намеков на данное обстоятельство. Представляется, что более плодотворным было бы напрямую сформулировать тезис о связи наиболее прочных крестьянских правовых обычаев с древнерусским правом, что позволило бы шире обращаться к этнографическому материалу. Известно, например, что, опираясь на этнографические записи, историки права реконструировали детали древнейшего обычая гонения следа⁸. Конечно, сделать это в отведенном объеме было очень сложно, т.к. вообще анализ процессуальных норм обычного права в книгах Безгина весьма лапидарен и не занимает самостоятельного места. Сама эта мысль, на которую столь явно наталкивают читателя рецензируемые монографии, будучи сформулированной, стала бы одним из веских доказательств в неутраченных спорах о том, является ли русская крестьянская община позднесредневековым порождением государства, или, возникнув раньше государства, пронесла через века и приумножила традиции русского крестьянства⁹.

Российская историография, безусловно, обогатилась новыми исследованиями крестьянского обычного права и крестьянской повседневности, в которых значительный объем ценнейшего фактического материала подан в яркой, запоминающейся форме, гармонично и непротиворечиво осмыслен на глубоком теоретическом уровне.

8. *Бобровский О.В.* (2013). Уголовный и гражданский процесс по Русской Правде // Памятники Российского права. В 35 т. Т. 1. Памятники права Древней Руси: учебно-научное пособие / Под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М. С. 289–395.

9. О новейших отголосках этого историографического спора см.: *Бабашкин В.В.* (2018). «...Жить единым человеческим общежитием», или Теория общины // Крестьяноведение. № 2. С. 183–184.

Нет ни малейшего сомнения в том, что вопросы, возникающие при знакомстве с двумя новейшими монографиями В.Б. Безгина, свидетельствуют о том, что автору удалось наметить новые научные проблемы, а значит, приоткрыть себе и коллегам дальнейшие пути их исследования.

The primacy of public over personal, or the Russian village in the legal-anthropological perspective of Vladimir Bezgin

Vadim M. Rynkov, PhD (History), Senior Researcher, Institute of History Siberian Branch, Russian Academy of Science; Associate Professor, Novosibirsk State University; 630090, Novosibirsk, Nikolaeva st. 8, E-mail: vadvsvet@list.ru

Перспективы и реалии технологической радикализации повседневной жизни

Рецензия на книгу: Гринфилд Адам. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни / Пер. с англ. И. Кушнareвой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 424 с. ISBN: 978-5-7749-1361-9

И.К. Полещук

Илья Константинович Полещук, младший научный сотрудник, Центр аграрных исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 119571, Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: poleshchuk-ik@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-157-163

Автор рецензируемой работы Адам Гринфилд — американский писатель и урбанист, старший научный сотрудник Центра по изучению городов Лондонской школы экономики. Одновременно он является генеральным директором компании Urbanscale, а в прошлом занимал должность информационного архитектора в компаниях marchFirst и Razorfish. Цель написанной им книги: «...помочь читателю обрести несколько более ясное понимание технических систем, от которых сейчас так сильно зависят наша жизнь и принимаемые нами решения, — того набора систем, с чьими мощными эффектами мы имеем дело, как следует их не понимая» (с. 6). Эта цель, безусловно, достигнута, однако «ясное понимание технических систем» подразумевает под собой не инженерно-технологические особенности, а скорее контекст использования систем в окружающей среде (человеческом обществе).

Книга, являясь сугубо урбанистическим произведением, будет полезна и актуальна и для аудитории, связанной с аграрной сферой. В наши дни современные технологии все больше и больше внедряются в деревню, меняя как способы ведения сельского хозяйства, так и образ и стиль жизни сельского человека¹. Поэтому так важно иметь представление о том, что в скором времени распространится и на территорию, которая долгое время была свободна от цифровизации. Гринфилд в своей книге приводит до-

1. Современные агротехнологии (2018). Экономика-правовые и регуляторные аспекты / Под ред. Д.Ю. Каталевского, А.Ю. Иванова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

вольно большое количество реальных примеров, которые полезно спроецировать на сценарии развития аграрной сферы.

Монография разбита на 10 глав, каждая из которых описывает одну из современных систем, значительно влияющих на ход нашей жизни. А Введение и Заключение представляют собой своего рода «вход» и «выход» в изложение материала. Так, вначале автор задаёт исходные данные — описывает Париж, акцентируя внимание на детали, которые мы не замечаем в повседневной жизни. Ими оказываются как раз те самые системы, которыми мы пользуемся ежедневно. А в конце, на выходе, автор представляет результат: что же происходит, когда технологии так сильно вовлечены в нашу жизнь.

Книга написана в пессимистических тонах, автор пытается продемонстрировать читателю киберпанковскую антиутопию во всей ее красе. Тотальный контроль, слежка, замена людей на роботов, пришествие мощного искусственного интеллекта, расслоение населения, использование технологий во вред и многое другое, что мы довольно часто видим в фантастических блокбастерах.

Пессимизм уже некоторое время «популярен» среди европейских писателей. Так, английский социолог Джон Урри и немецкий политик Ральф Фюкс в своих работах уделяют достаточно места этой проблеме. Фюкс пишет о катастрофичном экологическом состоянии планеты и отводит на прогнозирование будущего целую главу, рассуждая о том, что необходимо умерить аппетиты человечества². А Урри в свою очередь размышляет о «богатом Севере», который ставит краткосрочные перспективы выше долгосрочных, тем самым перекладывая решение проблем на плечи будущим поколениям³.

Довольно большую часть книги Гринфилд отводит смартфону, рассматривая его с разных точек зрения. Во-первых, как предмет, который позволяет человеку взаимодействовать с самыми разными объектами и системами, например, смартфон заменил нам проездной, наличные, карту города и т. п., теперь все это умещается у нас в руке. Во-вторых, смартфон — часть инфраструктуры, которая обеспечивает жизнь человека, например, банковская система, система дорожного транспорта, навигации и т. д. Чтобы человек мог пользоваться всем этим с помощью смартфона, необходимо создать сеть, в которой смартфон занимает свое четко обозначенное место. В-третьих, автор обращает внимание на то, что производство каждого смартфона тесно связано с другими людьми и природой, которой причиняется немалый вред, а человек не торопится его

-
2. *Никулин А.М.* Через «озеленение» капитализма к спасению мира? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 3. С. 555-566. Рец. На кн. *Фюкс Р.* (2016). Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии. М.: Альпина нон-фикшн.
 3. *Урри Дж.* (2018). Как выглядит будущее? / Пер. с англ. А. Матвеевко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. С. 9-27.

компенсировать. В-четвертых, автор затрагивает и вопрос об использовании дешевого труда в Китае, где «рабочий день длинный, труд одуряюще монотонный, процент несчастных случаев на производстве превышает все пределы, и они часто связаны с отравленными ядовитыми химикатами» (с. 33).

Смартфон сегодня определяет наш стиль жизни, а иногда и саму жизнь. Мы, например, ставим галку под пользовательским соглашением, даже не читая его или закрывая глаза на то, что нам кажется опасным, после чего человек становится источником огромного количества данных: «что делал?», «что и где кушал?», «что слушал?» — и так с любыми данными, которые проходят через наш смартфон. В дальнейшем эти данные используются, чтобы предоставить человеку наиболее подходящую информацию на основании его предыдущей деятельности. Однако Гринфилд обращает внимание, что на самом деле данные излишни и приносят больше пользы компаниям, которые эти данные получают, или третьим сторонам, которым эти данные передают. На основе их компании знают о пользователях больше, чем сами пользователи хотели, чтобы о них знали. Так, на Западе уже сейчас выдача кредитов или страховок происходит по непонятным клиенту алгоритмам и чаще всего опирается на те самые данные, что человек ненароком создал, используя смартфон. В связи с этим автор задается вопросом: готовы ли мы променять личные данные на удобство, которое позволит нам тратить меньше времени на мелочи?

Далее естественным образом возникает следующий вопрос: об использовании данных не только о самом владельце смартфона, но и о его окружении. За создание подобных данных отвечает технология интернет-вещей, которая позволяет объединить огромное количество датчиков по всему городу в единую сеть, датчики могут располагаться на улице, под землей или в доме у обычного гражданина. Все эти датчики объединены в общую сеть, что позволяет знать о состоянии каждого закоулка в городе или в спальне человека. На основании этих данных можно ввести новые меры по решению тех или иных проблем.

Гринфилд обеспокоен тем, что большинство людей стараются найти универсальное решение для любой проблемы, просто снимая показания с датчиков. Человек привык доверять цифрам, что позволяет обмануть его тому, кто умеет манипулировать этими цифрами: «Если всего на пару метров изменить высоту установки датчиков, можно получить другие показания загрязненности воздуха в данном месте» (с. 81).

В книге процитирован один из работников IBM: «Данные — это данные — трансцендентные, кристально ясные и неиспорченные человеческой слабостью» (с. 81), однако таковыми они являются только тогда, когда представляют набор цифр, не связанных ни с чем другим. Но как только они становятся ресурсом для реализации идеи, то вы никогда не узнаете, что за ними стоит или как они бу-

дуг использованы. Гринфилд предупреждает, что не стоит легкомысленно раздавать подобную информацию, так как неизвестно, в чьи руки она попадет и как ее будут использовать.

Дополненная реальность и виртуальная реальность еще один вид технологии, которую рассматривает автор. Он акцентирует внимание читателя на том, что не каждому человеку доступны технологии дополненной реальности. В какой-то момент люди будут формировать или получать разные представления о пространстве, которое их окружает.

Главной опасностью Гринфилд считает именно потерю единого пространства, в котором люди будут сосуществовать. Те, кто имеет доступ к технологии, смогут получать большее количество информации об окружающем мире, что определенно даст им больше возможностей. Однако информацию, которая приходит к этим людям, не всегда можно проверить, вполне может оказаться, что данными манипулируют, как уже говорилось выше.

Ситуация, где человек получает «вредную» информацию, вполне может породить еще большую разобщенность в обществе. Автор описывает это так: «...реальность — единственная платформа, которую мы разделяем, общая почва, от которой мы можем отталкиваться в смелом и всегда неудобном процессе поиска того, с чем еще все мы можем согласиться. Заменить это общее пространство миллионами разьединенных и не стыкующихся друг с другом индивидуальных дополненных реальностей — значит отказаться от любых притязаний на то, чтобы пребывать в одном и том же мире» (с. 118).

Наиболее оптимистично читается глава об использовании 3D-принтеров и ЧПУ (числовое программное управление) станков. Основным аргументом здесь выступает теоретическая возможность создания распределенного цифрового производства, которое может подорвать действующее капиталистическое устройство международного рынка. В наше время простенький 3D-принтер стоит около 25 тысяч рублей, а принтер с точностью 25–100 микрон — около 300 тысяч. Дешевые принтеры вполне по карману людям для использования в домашних условиях, а институт или школа могут позволить себе и более дорогой вариант. Все это говорит в пользу того, что большое число людей и организаций могут самостоятельно наладить производство необходимых именно им товаров. Причем сырьем для этого может быть даже мусор, например, использованные пластиковые бутылки.

Главы 5 и 6 посвящены криптовалюте и блокчейну. Хотя описанию биткоина отведено значительное место, но в конце делается вывод о том, что ничего стоящего из этой технологии не получится, главная же ее ценность заключается во вспомогательной технологии блокчейн. С ее помощью есть возможность создавать «распределенные приложения», «умные контракты», «автономные организации» (с. 200). Все это тесно связано с появлением «пространства цифрового консенсуса», где могут возникать формы координации,

«не требующие доверия», работающие в абсолютной криптографически гарантированной безопасности (с. 200).

Гринфилд пишет о том, что децентрализованные автономные организации (ДАО) могут осуществлять свою деятельность вне законов и ограничений любых стран. Более того, ДАО может работать без вмешательства человека по заранее созданному коду.

Самым неприятным выводом, к которому пришел автор, стало то, что «при полном расцвете ДАО мы столкнемся с зачатками машинной экономики, способной полностью избавиться от своих человеческих объектов или, по крайней мере, гораздо меньше нуждаться в них, чем сейчас» (с. 244).

Седьмая глава посвящена автоматизации производства. Эта тема довольно популярна сегодня, так что Гринфилд с огромным удовольствием еще раз повторил основные положения данной проблемы: человек рассматривается как самая несовершенная часть любой системы. Однако стоит обратить внимание на философическое описание проблемы человека, которого заменила машина: «Во времена, когда отчуждение и аномия, связанное с исчезновением работы, буквально убивают (некоторых из) нас, возможно, стоит задуматься о том, во что нам может обойтись ответ на этот вопрос» (с. 279). Итак, главным является потеря работы, которая и давала человеку смысл жизни, возможность реализовать свой талант, осуществить мечты. Вполне возможно, что человек в мире без работы «психологически не сможет выдержать свободу от обязательств» (с. 279).

Восьмая и девятая главы книги посвящены машинному обучению и искусственному интеллекту. Казалось бы, две эти технологии неразрывно связаны друг другом, но автор обсуждает их отдельно.

Машину можно обучить действовать почти как человек при анализе огромного количества данных, однако автор обращает внимание на то, что чаще всего компании, например «Тесла», выпускают на рынок автономные системы, которые не выполняют всех своих функций. Это означает, что хотя провозглашается сокращение риска человеческих ошибок, но автоматизированные «недоучки» могут быть опасны из-за своей непредсказуемости не меньше человека.

Относительно искусственного интеллекта автор предполагает, что в ближайшем будущем машины смогут создавать объекты, по функциональности превосходящие человеческие возможности, и в то же время это будут ни на что не похожие объекты: «Этот прорыв за пределы наших стандартов красоты, звучности или осмысленности, когда он начнет обуславливать ткань повседневного опыта, сотворит с нами странные вещи, пробудив те регистры чувств, которые нам будет сложно описать точно» (с. 360).

В конце своей книги Гринфилд описывает пять, на его взгляд, возможных сценариев развития жизни на Земле.

«Зеленое изобилие» (с. 384) представляет собой товарищескую гармонию между автономными корпорациями и людьми. Государ-

ство децентрализовано и превращено в эту самую автономную организацию, где акционером является каждый гражданин. Труд «оцифрован», поэтому работа стала для человека неким хобби, а деньги не имеют значения, так как потребности рассчитаны и будут удовлетворяться по мере необходимости. Закончится эпоха ограниченности ресурсов — теперь человек при помощи широкодоступных технологий переработки сможет раз за разом использовать одни и те же ресурсы. Человек прекращает борьбу за экономический рост и занимается совершенствованием своих личностных и социальных качеств. Капитализм разрушен, а сам автор называет эту эпоху «полностью автоматизированным коммунизмом класса люкс».

«Раскручивающаяся спираль» (с. 387) также предполагает отмирание государства как института, однако это создает некоторый хаос, при котором смешение культур приводит к их вымиранию. В этом мире нет общей идеи и цели, каждая отдельная группа лиц делает то, что ей заблагорассудится. Все экономические отношения управляются с помощью блокчейна и криптовалюты. В этом новом мире человеку придется смириться с тем, что ему нужно делить мир с филумом автономных машинных агентов разных типов и спецификаций. Как утверждает автор, это будет расплата за XX век, когда человек старательно пробивался сквозь инфраструктуру, построенную предыдущими поколениями, пытаясь найти полезные материалы для переработки.

«Стеки+» (с. 389) — это эпоха, где все похоже на современный мир, но в худшем варианте. Государство и рынок уже малоотличимы друг от друга, главные политические и экономические игроки пытаются сохранить власть, используя все недавно полученные инструменты, а человечество еще сильнее дифференцируется на элиту и тех, кто ее обеспечивает. Институты, которые должны противодействовать этому, управляются такими же бизнесменами. Эта модель будущего характеризуется противостоянием «улицы», с помощью полулегальных технических средств, той самой элите.

«Совершенная гармония» (с. 394) — это пространство, в котором слились государство и экономика. Мир погружен в авторитарный порядок, в котором поощряется конформизм и наказываются отклонения. Главная цель — это извлечение выгоды из чего угодно. «Государство целиком отвечает за распределение благ, задабривая ими своих любимчиков и отказывая в предоставлении подозрительным этническим группам и другим непокорным социальным образованиям» (с. 394). Человек перестал быть основным объектом принятия решений, а следовательно, никто не считает нужным думать о людях.

Последняя модель (с. 396) не имеет названия. В целом это тот самый апокалипсис, когда человек перестал быть хозяином Земли, а лишь доживает свои дни вместе с умирающей планетой.

Интересно отметить, что Фюкс и Урри в своих работах также представили свои прогнозы будущего. Фюкс пытается доказать, что

государство должно взять будущее людей в свои руки, Урри подталкивает к этому социум, а вот Гринфилд слишком доверяет технологиям, считая, что человек не в силах им противиться. Он представил в своей книге технологическую точку зрения на будущее человека. Это одна из миллионов моделей, которые могут меняться каждый день в зависимости от миллионов переменных, которыми управляет реальность. Критической проблемой данной модели является сам автор. В книге он предстает урбанистом до мозга костей, однако стоит покинуть пределы Сети, как люди уже не видятся рабами технологий. Конечно, технологии уже сегодня стройным маршем продвигаются по миру, проникая даже в самые глухие его уголки, и поэтому стоит рассматривать эту книгу как предупреждение для всех нас, несмотря на то, в какой сфере мы трудимся.

И.К. Полещук

Перспективы
и реалии техноло-
гической радикали-
зации повседнев-
ной жизни

Prospects and realities of the technological radicalization of everyday life

Review of the book: *Radical Technologies: The Design of Everyday Life*/Adam Greenfield; per. s angl. I. Kyshnarevoy. — M.: Izdatelskiy dom «Delo» Ranepa, 2018. — 424. c

Ilya K. Poleshchuk, Junior Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, prosp. Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation, 119571. E-mail: poleshchuk-ik@ranepa.ru

BRICS cooperation for the Critical Agrarian Studies: Challenges for the international research network under the new global geopolitics

P. Niederle

Paulo Niederle, DSc (Social Sciences), Associate Professor, Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brazil). E-mail: pauloniederle@gmail.com.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-164-170

In December 2018, Brazil hosted the Sixth international conference of the BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies (BICAS). The conference united about 200 researchers and students from BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and non-BRICS countries, and these scholars with social movements' representatives mainly from the Brazilian Confederation of Family Farmers (Contag) and the Landless Movement (MST). Perhaps, due to the number and qualification of participants or due to the dialogue with social movements and organizations BICAS has become one of the most important international networks focusing on agrarian and agrifood studies.

For the first time since its establishment in 2013, the conference provided conditions for the dialogue of agrarian scientists with researchers not interested in agrarian issues but rather in the new international geopolitical context. This dialogue allowed to better understand the consequences of the contemporary autocratic and neo-liberal policies on agriculture, food production and rural communities, and, at the same time, to reconsider how such governments take advantage of new forms of agro-extrativism to support their political and economic strategies. The article aims at presenting the key issues of this dialogue and at identifying the challenges for the research agenda that focuses on critical agrarian studies.

BICAS is a network of academic organizations and researchers studying the BRICS agrarian dynamics as connected with the global food regime reconfigurations. This project was established at the conference organized by the Land Deal Politics Initiative in 2011, at the Institute of Development Studies (UK) that is still a very active organization in promoting BICAS. As BRICS countries were changing under the massive investments of the corporate and financial capital, which have completely changed the agrifood system dynamics, the network of organizations decided to promote a conference in Beijing in

2013 to unite researchers from all BRICS countries. This event can be considered the BICAS Initiative starting point followed by conferences in Brasilia (2014), Cape Town (2015), Beijing (2016), Moscow (2017), and then again in Brasília (2018). The next conference will be held in 2020 in India as the least integrated country in the network.

In the last six years, BICAS has become an amazing opportunity for scientific cooperation of the BRICS-based or connected scholars. Although the initiative is supported by BRICS-based organizations — the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), the Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) in South Africa, the College of Humanities and Development Studies in China (COHD), and the Universities of Brasília (UND), Rio Grande do Sul (UFRGS) and São Paulo (UNESP) in Brazil, the network is open to all researchers and organizations focusing on agrarian economies and food systems in the BRICS countries. For instance, the Institute of Social Studies (ISS) and the Transnational Institute (TNI) are two Dutch organizations very active in the network since the beginning, i.e. the BICAS has become an open global initiative in which the debates are not limited to the BRICS context but cover a larger puzzle of the contemporary global food regime.

The last BICAS conference focused on how the increasing financialization of the food system and the resurgent authoritarian populism have promoted profound changes in agrarian economies. These processes have induced new practices of capitalist accumulation in which old forms of extractivism are interconnected with contemporary technologies that allow the financial control over the entire agrifood chain — from input markets to retail. To explain these changes in the historical perspective, at the opening session, Henry Veltmeyer (Saint Mary's (Canada) and Zacatecas (Mexico) Universities) discussed “The political economy of agro-extraction: The agrarian question of the 21st century”. His argument was very similar to David Harvey's last works on “accumulation by dispossession”: under the contemporary crisis capitalism is increasingly engaged in creating new forms of “primitive” accumulation that, by means of neo-extractivism, threatens the reproduction of natural resources, rural and urban communities, and even the entire planet due to such global dynamics as the climate change. BRICS countries have become the heart of these practices.

The first plenary session discussed BRICS investments in Africa, Asia and Latin America to explain how BRICS cooperation is different from the North-South historically asymmetric economic relations. Eduardo Gomes (Fluminense Federal University (UFF), Brazil) started his lecture by questioning the very idea of BRICS as a politically and economically coherent coalition. Are these countries really acting as a bloc in the international arena? Do they have similar interests, strategies, discourses and practices? Do they create in-

novative mechanisms of cooperation? Perhaps, the only evident consensus here is the huge heterogeneity of the bloc mainly because China is a member whose Gross Domestic Product (GDP) is larger than of all others combined.

Ye Jingzhong (COHD, China) and Isabela Nogueira de Moraes (LabChina, Brazil) studied the features of the Chinese participation in BRICS considering both the global scenario and the domestic challenges the country faces. On the one hand, Moraes's analysis clearly demonstrated how China takes advantage of the block to intensify its economic investments to control strategic natural resources such as land, minerals reserves and agricultural products. On the other hand, Jingzhong explained this strategy by the Chinese domestic policies focusing on the industrial development and food security. What is astonishing in this debate is the contradiction of the Chinese rural development strategies: while the government takes huge efforts to boost the national "rural revitalization" by supporting ecological modernization of family farming, the foreign Chinese actions have been very predatory in terms of land and water due to the land grabbing contributing to severe social and environmental conflicts that affect family farmers and peasant communities not only in the BRICS countries but worldwide.

To a lesser extent, this conflict determines the Brazilian state's action. In fact, Brazil policies are even more contradictory considering the unsolved tensions due to the government's efforts to ensure the coexistence of family farmers and agribusiness corporations. In the last two decades, Brazil has made important advances in food security policies that are largely based on the state support for small family farmers. Some such policies have been exported to other countries, mainly to Africa, with the strong support of the Brazilian government and multilateral organizations such as the FAO. However, this same government has been even more generous to expand the export-oriented production, which threatens the reproduction of family farmers and, consequently, food security and sovereignty. Besides, as stressed by Lidia Cabral (IDS, UK), the Brazilian state supports investments of agribusiness corporations overseas (especially in Africa), which contribute to the global land grabbing and destroy local food systems.

The situation in India also proves the huge challenges the governments face in the agrarian sector. According to Sudhir Kumar Suthar (CPS, India), India lives in the huge agrarian crisis that in 2018 led to the farmers' huge demonstrations against the food markets deregulation. The financial pressure on India's farmers is determined, on the one hand, by the rise of agricultural inputs prices (mainly fuel and fertilizers), and, on the other hand, by the decline of food prices in domestic markets due to the increasing farmers' indebtedness. In part this situation is a result of public policies of agricultural modernization. Recently, productivity of several crops has reached the record levels in India, that is why imports from Canada, Austral-

ia and Russia fell to the lowest level since 2000. India is also to beat Brazil as the world's leader in sugar production. However, this modernization has resulted in the drop of domestic prices, and farmers demand from the state to create alternatives. It is necessary to remember that peasants and agriculture workers represent about half of India's 1.3 billion population.

The state policies were in the focus of the second plenary session, at which Alexander Nikulin (RANEPA, Russia) described the Russian food policies, and his analysis was supplemented at the next session by his colleague Alexander Kurakin. As we all know, Russia has adopted protectionist policies concerning food supply, which in 2014 were defined as the "food embargo", a counter-sanction policy of the Russian government in response to the European and North-American sanctions. The Russian government takes efforts to modernize agriculture mainly by supporting agro-holdings and family farmers. Although this resembles the Brazilian case, there are at least two main differences. First, most Russian family farmers have productive structures similar rather to the Brazilian agribusiness than to small family farmers. Indeed, in Russia this group is very specialized and engaged in commodity production and export. Second, the Russian government investments support primarily national companies and agrarian oligarchies rather than the foreign capitals that found in Brazil a much friendlier institutional environment.

At this session, another topic attracted my attention (unfortunately, I have to be very selective in this résumé of debates leaving out some speakers and issues) — the pernicious relations between governments and the corporate capital as the core of the agro-extractivist mode of accumulation. George Mészáros' (Warwick University, UK) analyzed the connection between the economic and ecological dimensions of the current agrarian transformations in and around BRICS, and the emerging corrupt democracies, when autocratic governments use institutionalized or other forms of violence to ensure the profit of capitalist elites. This situation is clear if we consider the complacency of the Brazilian government with the illegal mechanisms corporations use to expel rural communities from their lands, which was described by José Paulo Pietrafesa (UFG, Brazil) at this session.

After the general discussion about BRICS cooperation and state policies, the next plenary sessions focused on the most relevant issues for the BICAS initiative such as the interconnections of agricultural production, environment and food sovereignty. The third plenary session started with the presentation of Ruth Hall (PLAAS, South Africa) on the institutional changes in the agrarian reform in South Africa. These changes lead to significant transformations in the mode of food production and control of natural resources amplifying peasant protagonism in the national food security and sovereignty strategy. This situation contradicts the Russian and Brazilian cases: according to Alexander Kurakin (RANEPA, Russia), the Russian

food security strategy favors large and medium-sized farmers rather than household plots that reduce the production (for instance, of pork) due to the increasingly restrictive public norms.

Three speakers — Arilson Favareto (UFABC), Claudia Schmidt (CPDA) and Lauro Mattei (UFSC) — presented a very pessimistic picture of recent changes in the Brazilian state policies proving an abrupt shift from the developmental-democratic state of the Workers Party governments (2003-2016) to the neoliberal-authoritarian state developing from 2016, mainly after the President Bolsonaro election in 2018. All Brazilian researchers believe that this shift has amplified the power of agribusiness corporations and oligarchies, favored the expansion of the commodity frontier, and threatened the reproduction of rural peasant communities and natural and collective resources increasingly privatized by means of the counter-agrarian reform. They also highlighted the collapse of the previous compromise that supported the fragile coexistence of agribusinesses and family farms, which leads to the extinction of some public policies. Due to the fact that the latter group ensures the domestic food supply, the Brazilian food security and sovereignty is now in danger, which contradicts the global geopolitical image of the country.

The fourth plenary session discussed commodity production, land grabbing and financialization of the agrifood system. Some interesting data were presented by Sergio Leite (CPDA, Brazil), who described different mechanisms linking land and green grabbing with financial dynamics of contemporary capitalism. Leite explained how the impersonality of the financial funds hides the relationships that support their profitability. For instance, the New York University professors are not aware of the fact that some funds that control their pensions are engaged in illegal land grabbing practices in South America. However, what would they do if they knew that? Henry Bernstein (SOAS, UK) questioned the peasants' capacity to face this increasingly financialized agrarian capitalism. But if not peasants then would professors or consumers confront the financial capital?

Resistance is the core of the contemporary agrarian question and was one of the main issues of the final plenary, at which Wendy Wolford (Cornell University, US), Bernardo Fernandes (UNESP, Brazil) and Leonilde Medeiros (CPDA, Brazil) summarized the results of the conference. First, the traditional agrarian question is still relevant today but is related to new questions of natural resources control, and wider agrifood and ecological issues. Second, there is a new agenda of the control of "territories" (not only land) due to the movements of resistance that are increasingly territorialized and use complex strategies in which values and social-cultural identities are as important as economic goals.

All these issues were also discussed in the Working Groups whose proceedings are available at <http://conferencias.unb.br/index.php/bicas/bicas>. It is not possible to summarize all 65 papers presented, but

I would like to identify thematic foci of all groups: 1) regional influences and development: BRICS trade and investments across the Global South; 2) South-South cooperation: policy transfer and state influences among BRICS and MICS (Middle-Income Countries); 3) new state-market relations in BRICS and MICS; 4) environmental crisis and agro-ecology in Latin America and the Global South; 5) resurgent authoritarianism and populism in the contemporary political and agrarian transitions; 6) agrarian transformations, rural and territorial development in BRICS; 7) land, environment, food sovereignty: resistance and social movements; 8) land and water grabbing. Thus, the BICAS initiative is on the frontier of the contemporary debates on the political economy of agrifood studies.

As the plenary sessions most working papers focused on the Brazilian agrarian economy for the country hosted the conference. Moreover, the BICAS discussions were very interesting for the Brazilian audience due to the abrupt political rupture after the impeachment of the President Dilma Rousseff in 2016. Therefore, the conference discussed the new Brazilian context not only because it has direct implications for rural researchers and organizations in the country, but also because it can affect rural development policies in other countries: for the last two decades Brazil has been a leading actor at the international forums on agrifood management and on family farming and food security policies transfers.

At the same time all participants were concerned about the Brazilian political-economic changes associated with the global rise of conservative movements. The conference identified similarities and differences in the situation worldwide. Thus, similarities are mainly related to the rise of authoritarian populism that threatens democratic institutions; while differences are mostly economic, for example, the divergent routes of Brazil and Russia — a more subordinated path of Brazil and a more autonomous path of Russia to the global food regime. It is important to emphasize that the new Brazilian President Jair Bolsonaro (the so-called “tropical Trump”) has become an element of tension inside BRICS: his minister of foreign affairs has already mentioned that the new government would be much more interested in bilateral negotiations than in multilateral governance. Besides, the realignment of the Brazilian government to the US international politics has already led to tensions with Russia and China in trade (soy export) and political filed (Venezuela crisis).

Considering this new geopolitical context, what would be the mode of the BICAS cooperation in the next years? On the one hand, the new agrarian question will probably be at the core of the global agenda of the BRICS countries acting as a coherent bloc or in the opposite way, and the BRICS countries will still focus on the intensity of changes in their agriculture and agrifood systems. On the other hand, the consolidation of autocratic and neoliberal governments can lead to serious restrictions for cooperation in critical agrarian studies and,

even more, for the dialogue between scholars and social movements. In India, China, Russia and Brazil social movements and NGOs face an increasingly restrictive context. These actors are already trying to change their strategies of action, and, perhaps, researches will also have to change traditional forms of academic cooperation.

Сотрудничество стран БРИКС в области критических аграрных исследований: задачи международного сообщества ученых в новом геополитическом контексте

Паоло Нидерле, доктор социологических наук, доцент Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Порту-Алегри, Бразилия). E-mail: pauloniederle@gmail.com.ru

Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше?

Н.И. Шагайда

Наталья Ивановна Шагайда, доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте РФ. 119571, Москва, проспект Вернадского 82. E-mail: Shagaida@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-171-175

В сельском хозяйстве России произошли значительные институциональные изменения — разгосударствление, деколлективизация, холдингизация, агропромышленная интеграция, концентрация земли и капитала. В результате этих и других процессов возросло производство отдельных видов продукции, страна вышла на мировые рынки с большими объемами продовольствия, а проблема продовольственной импортозависимости перестала быть важнейшей. В этой связи остаются вопросы: должна ли быть изменена парадигма развития сельского хозяйства? Насколько современная аграрная структура удовлетворяет требованию устойчивости сельского развития? Для дискуссии было сформулировано несколько вопросов.

Как сделать так, чтобы точки роста в отдельных компаниях стали точками развития территории? Точки роста действительно есть в каждом субъекте РФ, однако вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, когда одна организация производит более 40% всей товарной продукции региона. Так, например, в Псковской области на одну сельхозорганизацию приходится 44% товарной продукции всех сельхозорганизаций, а в Марий Эл — 42%. Это означает, что в ограниченном числе сельхозорганизаций есть рост, но этот рост не дает импульса другим предприятиям региона. Если государство хотело через поддержку таких организаций создать условия для развития сельской территории в целом, то этого не получилось. Современные предприятия можно сравнить с подводной лодкой — там есть все для его деятельности, ему не нужны сторонние бизнесы, развивающие территорию. Итак, хотя государство поддерживает развитие отдельных сельскохозяйственных организаций, но это не обеспечивает развитие территории, так как крупная точка роста развивается автоном-

но, производство смещается в нее, а в других местах расширяются территории запустения.

На этот аспект обратил внимание профессор Серджио Шнайдер (Бразилия), отметивший в своем выступлении, что развитие территории наблюдается при развитии не одного крупного, а многочисленных бизнесов, которые имеют относительно равные возможности (доступ к современным знаниям, кредитам, заказам). Наоборот, там, где работают крупные высокомеханизированные предприятия, наблюдается массовое вытеснение людей в города, затухание социального развития. Так, с 1991 по 2000 год, пока правительство не разработало и не применило программу «Нулевой голод», содержащую меры социального и экономического характера, включая село (земельная реформа в пользу семейных ферм, государственная поддержка кредитования семейных ферм, система закупок продукции фермеров для социальной сферы, повсеместная система сельского консультирования и т. п.), численность сельского населения снизилась на 4 млн человек, а за период осуществления программы — до 2010 года — всего на 2 млн человек.

Концентрация господдержки, производства и новых технологий на отдельных предприятиях стимулирует или ограничивает развитие сельского хозяйства страны? Ответ на этот вопрос можно обнаружить в данных, приведенных докладчиками на сессии: доступ к субсидиям в России сокращается даже в короткий промежуток времени (в 2015 году 48% сельхозорганизаций не имели доступа к субсидиям или получили их в размере до 1 млн руб. на хозяйство, а в 2016 году таких стало уже 50%). При этом в стране 82% сельхозорганизаций (без учета объединения их в агрохолдинги) — это микропредприятия (по объему выручки). Они рассредоточены по всей территории страны, у них есть сельхозугодья и на них работают живущие вокруг люди. Очевидно, что для устойчивого развития села и роста производства (в том числе для достижения поставленной Президентом РФ цели по агропродовольственному экспорту) вопрос их существования становится самым важным: в их массовости и росте заложены перспективы развития для всего сельского хозяйства. Однако в настоящее время, как отмечалось в дискуссии, на 100 крупнейших сельхозорганизаций страны (0,5% от общего числа) приходится 27% выручки, 29% активов и 58% всех субсидий. Очевидно, что абсолютное большинство компаний конкурировать с ними из-за отлучения от дешевых кредитов и субсидий не могут. В этой связи сосредоточение производства в отдельных компаниях ограничивает развитие инициативы других и ограничивает развитие сельского хозяйства в целом.

Почему при росте добавленной стоимости сельского хозяйства доля населения, живущего ниже черты бедности, смеща-

ется в село? Как выяснилось в ходе выступлений, в сельском хозяйстве России бенефициарами добавочной стоимости становятся в большей мере собственники предприятия, чем работники. Доходы¹ собственников (19,6 тыс. в 2016 году) больше, чем заработная плата всех работников (1,2 млн чел.). Государственные субсидии стимулируют инвестиции, инвестиции — рост производства и добавленной стоимости. Рост производства и добавленной стоимости, в том числе и за счет бюджетных субсидий, способствует росту доходов собственников, но не увязан с ростом доходов работников. Это понятно с позиции организации производства (заработная плата формируется с учетом спроса на рабочую силу), но не очевидно с позиции целей государственной политики — снижения сельской бедности. Как рассказал профессор Шнайдер, в Бразилии целью субсидий является повышение доходов семейных ферм. Для этого определены их параметры (ограничение по площади, привлекаемым работникам, управление и участие собственника в работе), а также установлен максимальный доход, до достижения которого все фермы с подходами характеристиками могут получить государственную поддержку. Аналогичные инструменты есть в США и в Европе. В России ограничений на размер государственной поддержки, получаемой одним лицом, нет. Приватизация в сельском хозяйстве в 1990-х годах создала широкий класс сособственников, затем в сельском хозяйстве произошло коренное перераспределение собственности: в 2016 году доля предприятий с одним собственником превысила 50%, еще в 30% хозяйств было 2–5 собственников. Эти хозяйства являются основными производителями сельхозпродукции, а относительно небольшой круг их собственников — выгодополучателями от роста доходов, в немалой степени обусловленных государственной поддержкой.

Возможно ли размещение сельхозпроизводства, соразмерное сложившемуся расселению сельских жителей и способности природы переработать отходы? Все участники сессии согласились с тем, что такое размещение возможно. Однако, как было продемонстрировано в ходе выступлений, концентрация производства в отдельных регионах страны (на 15 крупнейших регионов РФ в 1996 году приходилось 21% всего производства, а в 2016 году — уже 51%), отдельных компаниях регионов ведет к запустению на остальных сельских территориях. Увеличивается число регионов, которые можно отнести к регионам холдингового типа (доля продукции, приходящаяся на холдинги, превышает 25%), значительно меньшими темпами увеличивается число регионов, которые можно отнести к регионам с фермерской аграрной структурой (доля продукции, приходящаяся на фермерские хозяйства, превышает 25%). Растет дифференциация сельхозорганизаций по обрабатываемой площади

1. Дивиденды + прирост чистых активов — вклады в уставной капитал

(земля все более концентрируется в ограниченном числе сверхкрупных хозяйств). Такое смещение производства на отдельные территории делает пустующей остальную часть России, что вынуждает людей мигрировать из села (на день, неделю, месяц, сезон). Отсутствие статистического учета такой миграции не позволяет разглядеть остроту проблемы занятости на селе. Очевидно, что требуются меры стимулирования развития иных форм организации сельского бизнеса (контрактное или кооперативное взаимодействие крупных компаний-переработчиков с многочисленными сельхозпроизводителями). Как было показано на сессии, на территориях, где выше доля организаций, входящих в агрохолдинги, быстрее сокращается численность сельхоззанятых (что экономически объяснимо) и сельского населения (без учета ежедневной, еженедельной и т. п. миграции).

Другая проблема: отсутствие норм, увязывающих плотность поголовья животных и земельные участки для того, чтобы почва могла без ущерба перерабатывать отходы. Как было показано в презентации, в РФ почти 12% сельхозорганизаций не имеют земельных участков, а 28% — участок до 1 тыс. га, притом что среди них могут быть большие животноводческие предприятия. Очевидно, что скудность животных в рамках одной организации на ограниченной площади кроме риска распространения заболеваний может нанести ущерб окружающей среде. Опыт Дании, изложенный представителем посольства этой страны в России, в части экологических требований к плотности животных представляет интерес для России. Очевидно, что проблемы с распространением заболеваний, загрязнением земли, воды и воздуха были бы значительно слабее при размещении производства соразмерно возможностям природы перерабатывать отходы животноводства.

Как достигается конкурентоспособность малого бизнеса при наличии крупных производителей? Ответы на этот вопрос были также предложены на сессии. Есть два варианта: через кооперативы (как в Дании и Бразилии) или через контракты (как в Бразилии). Хотя в России 32% продукции производится в хозяйствах граждан, а еще 12% в КФХ, очевидно, что есть институциональные ограничения для включения мелких производителей в вертикальные цепочки. Кроме того, сохраняются стимулы для ведения крупного бизнеса иным способом. Отсутствие механизмов вовлечения малого бизнеса в надежные вертикальные продовольственные цепочки не дает ему шанса на развитие, что ведет к замедлению развития сельского хозяйства и сельских территорий в целом.

В дискуссии, развернувшейся на сессии, были высказаны предложения по совершенствованию структурной политики.

Во-первых, целесообразна корректировка аграрной политики: ограничение поддержки крупного бизнеса в пользу малого. Основ-

ными направлениями совершенствования политики господдержки следует считать:

— введение законодательных ограничений на право получения субсидий для отдельных категорий получателей, в частности, для крупнейших производителей. Их финансовое благополучие обеспечивается благодаря эффекту масштаба;

— введение ограничений на размер совокупных субсидий для отдельного юридического или физического лица по всем мероприятиям госпрограммы, а также по отдельным мероприятиям.

Во-вторых, ограничение расходов на поддержку крупного бизнеса позволит увеличить объемы господдержки, предоставляемой малому бизнесу, повысить благодаря этому его конкурентоспособность при производстве продукции сельского хозяйства. В этих условиях крупные агропромышленные компании ограничат свою деятельность сферами переработки, хранения и реализации продукции, логистикой, станут «неполными холдингами». Это позволит перейти к контрактной форме взаимодействия с малым бизнесом. Такая форма даст возможность продовольственным гигантам расти через увеличение контрактов с сельхозпроизводителями, а не числа затратных сельскохозяйственных бизнесов. При такой организации дела «неполные агрохолдинги» станут базой для распространения достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, будут способствовать росту занятости и доходов сельского населения.

В-третьих, следует ввести индикаторы роста заработной платы в субсидируемых за счет бюджета сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Условием эффективности использования субсидий может стать соответствие роста прибавочной стоимости росту заработной платы наемных работников.

В-четвертых, для снижения рисков, возникающих при отделении собственников (арендаторов) сельскохозяйственных угодий и СХО, производящих сельскохозяйственную продукцию, необходимо разработать нормативно-правовые акты по ограничению поголовья скота и птицы на 100 га сельхозугодий с целью полного или частичного самообеспечения кормами, утилизации навоза и снижения экологических рисков, а также регулирования взаимоотношений владельцев и пользователей земельных угодий.

Н.И. Шагайда
Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше?

**Institutional restructuring of agriculture is complete:
What is next?**НАУЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Natalia I. Shagaida, DSc (Economics), Head of the Center for Agro-Food Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 119571, Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: Shagaida@ranepa.ru.

Сельское историческое краеведение на Томской земле

С.И. Толстов, О.В. Усольцева

Сергей Иванович Толстов, кандидат исторических наук, ООО «Дельта», директор,
г. Севастополь, ул. Токарева, 3б, офис 1-55. E-mail: shpakras@mail.ru

Ольга Васильевна Усольцева, кандидат исторических наук, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей Томска,
тьютор, г. Томск, пр. Ленина, 53. E-mail: usoltseva-o-v@mail.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-1-176-180

Сельское историческое краеведение — примета сегодняшнего дня. Оно помогает операционализировать, то есть сделать функциональным, понятие «патриотизм», дополняя его таким легко воображаемым и эмоционально-чувственным элементом, как «малая родина» или «родная деревня». История существующих и исчезнувших деревень столкнулась с теоретико-методологическими проблемами современной исторической науки: некогда эффективные портретно-хронологический жанр и тотально-трактоочные идеологемы в отображении прошлого родной страны сегодня уже не воспринимаются молодым поколением — основным адресатом патриотического воспитания. В то же время ретроспективный взгляд на сельскую жизнь помогает старшему поколению обнаружить исторический потенциал сопротивления негативным издержкам глобализации, а такое научно-дисциплинарное направление исторической науки, как крестьяноведение, становится великолепным подспорьем для краеведов в объяснении сложного, противоречивого и порой личного прошлого.

Уже не первый год в Томске на различных площадках собираются школьники, студенты, старшее поколение, краеведы-любители и историки профессионалы и размышляют о том, как адекватно применить исторический опыт к нашей собственной жизни¹. Одним из таких мероприятий стала секция «Изучение, сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия томского

1. Обзоры прошлых мероприятий см. в: *Толстов С.И., Усольцева О.В.* (2017). «Поставьте памятник деревне...» // *Крестьяноведение*. Т. 2. № 1. С. 173-180; *Толстов С.И., Усольцева О.В.* (2018). В поисках утраченных смыслов // *Крестьяноведение*. Т. 3. № 1. С. 189-197.

села» XXI региональной научно-практической конференции «Лицейские чтения» в Гуманитарном лицее, состоявшейся 28 апреля 2018 года.

Участники секции — ребята из сельских школ Томской области и потому тематика их выступлений была связана с селом. Четыре доклада были посвящены истории отдельных населённых пунктов области («История деревни Березовая Речка Томского района», А. Бурыхина, В. Зайцева, К. Матвиенко, А. Мелентьева, руководитель О.М. Реук; «Исчезнувшая деревня Бобровка Тегульдетского района Томской области», Э. Харитоновна, руководитель С.В. Ильина; «Родная улица моя», Д. Болтовская, руководитель Г.Г. Хребтова; «Наумовский погром 23 октября 1905 года: границы интерпретации», В. Афанасенков). Два доклада обобщали результаты генеалогических изысканий школьников («У истоков моего происхождения», А. Чепрасова, руководитель Л.И. Хабарова; «Наша вторая Родина», О. Микшто, И. Микшто, руководители Н.В. Вождова, Н.И. Елькина).

Интересует школьников также тема судьбы земляков в исторических обстоятельствах. Разным её аспектам были посвящены шесть докладов («Годы репрессий и история одной судьбы...» А. Бабенкова, руководители Н.В. Вождова, Н.И. Елькина; «Г.М. Марков в памяти родных, друзей, соратников» Д. Карпенко, руководитель Г.Н. Богомолова; «История литовских спецпереселенцев на территории Верхнекетского района» П. Монголина, руководитель В.А. Голубева; «Война в судьбах людей» М. Ершова, В. Иванова, Ю. Арефьева, руководители Г.И. Куданенко, И.В. Иванова; «Потомки легендарной личности», П. Клют, А. Третьякова, Е. Малышкова, руководители Г.Н. Грибенникова, Т.В. Коняева; «Человек-эпоха: к 100-летию юбилею живой легенды Бакчара Екатерины Александровны Кудрявцевой», А. Паныч).

Как оказалось, популярное ныне волонтерство черпает вдохновение в истории комсомола и тимуровского движения, этому были посвящены четыре доклада («Дом детского творчества — идейный вдохновитель тимуровского движения в Тегульдетском районе», Л. Вахмистрова, руководитель С.В. Ильина; «Имена героев-комсомольцев на пионерских знаменах Томского района», Д. Потапова, И. Михайлов, руководитель Г.Н. Грибенникова; «Комсомол в жизни почетного гражданина Тегульдетского района М.В. Рогачевой», В. Сергеева, руководитель С.В. Ильина; «Комсомольцы Тегульдетского района Томской области в годы Великой Отечественной войны», М. Сучкова, А. Кайсарова, В. Васильян, руководитель С.В. Ильина).

Работа музеев на селе нашла свое отражение в двух докладах («Краеведческий музей — достопримечательность Тегульдетского района», И. Байкова, руководитель С.В. Ильина; «История экспоната. Поединок снайперов», Ю. Непомнящая, руководитель Н.В. Вождова).

Безусловно, успешной работу секции можно считать из-за значительного числа участников из сельских школ. Что же касается содержательной части, то можно констатировать, что эмоционально-эвристическая составляющая практически всех выступлений была на высоком уровне. Школьники понимают важность истории малой родины и для страны и для собственной социализации, обращение к истории своего села или семьи помогает им обрести чувство собственного достоинства. Однако здесь кроются некоторые мировоззренческие ловушки. Героическим поведением предков в различного рода конфликтах прошлого мало гордиться, недостаточно сокрушаться по поводу несправедливостей, с которыми они столкнулись, нужно понимать их природу, извлекать из них уроки. Без рационализации того исторического материала, который впечатляет школьников на начальном этапе краеведческой работы, в процессе взросления может сформироваться скептицизм и нигилизм, между тем как успешное личное и общественное будущее возможно только при условии преодоления парадигмы конфликтности и вынужденного сотрудничества.

Отсутствие в докладах школьников адекватной актуализации выбранных тем и убедительных интерпретаций объясняется в первую очередь слабым научно-методическим сопровождением краеведческой работы в школе. Краеведы-любители, главные поставщики материала для учащихся, не располагают ещё серьезной поддержкой историков-профессионалов, только-только переключающихся на изучение локальной истории. Надо сказать, дрейфуя в локальную историю и историческое краеведение, специалисты-историки продуктивно воспроизводят навыки портретно-хронологического жанра и используют объяснительный потенциал современных исторических концепций, в том числе и крестьяноведения. Средством преодоления пока ещё огромного разрыва между локальной историей и сельским историческим краеведением должны быть научные мероприятия, на которых бы все заинтересованные стороны собирались вместе, обменивались опытом, что гарантировало бы взаимный обучающий эффект.

Второе мероприятие, проведенное авторами обзора, — секция «Исторический дискурс сельских территорий Томской области», состоявшаяся 19 мая 2018 года в рамках «Дней славянской письменности и культуры», XXVIII Духовно-исторических чтений памяти учителей словенских святых Кирилла и Мефодия, как раз и было задумано в таком формате. Как и в прошлые годы, секция собрала профессиональных историков, краеведов-любителей, студентов, школьников. Работала она в стенах школы старинного села Семилужки, в котором богатая история конвертирована в туристические достопримечательности, иными словами, здесь сельские краеведческие разработки стали своеобразным институтом развития сельских территорий. (По окончании работы секции для её участников были организованы экскурсии в мемориальный «Дорожный павиль-

он Цесаревича Николая» и в музей под открытым небом «Семилуженский казачий острог».)

Во вступительном слове С.И. Толстов обратил внимание её участников на то информационное состояние, с которым современные исследователи вынуждены считаться. Речь идет о восприятии взрослых, пожилых людей, которые сквозь призму личного жизненного опыта интерпретируют то, что нашли в архивах о своём прошлом. Они в любом случае оказываются перед мировоззренческим выбором — оправдать или осудить своих родных или односельчан в близкой и далёкой истории. Без того, чтобы выстроить причинно-следственные цепочки, понять и объяснить сложность и противоречивость всего предшествующего не обойтись. И жизненный опыт, здравый смысл даёт право интерпретировать так, как это интерпретируется, — по совести. Краеведы не обязаны следовать каким-то определённым канонам исторического знания, а вот уже дело историков-профессионалов это всё наблюдать, общаться, интерпретировать и представлять в контенте, претендующем на объективность.

На секции были представлены доклады, посвящённые истории сёл, родов, судьбам отдельных людей («К истории семьи Серяковых из Тымского прихода (Каргасокский район Томской области)», А.Г. Гайль; «История женской судьбы на изломе российской истории начала XX века (О Марии Бочкарёвой)», Д. Карпенко, руководитель Г.Н. Богомолова; «Первые жители Семилужков Томского района и их потомки», В. Волков; «Метрические книги как источник изучения быта и семейных нравов наших предков», А. Кантаева, руководитель Г.Н. Богомолова; «К истории села Володино Кривошеинского района Томской области», Н.Н. Калинина; «Наумовский погром 23 октября 1905 года», В.О. Афанасенков; «Изучение истории семьи Просекиных в Томском районе», Т.А. Зюзина; «Первая мировая война в судьбах томичей», Д.В. Воронин; «Летописание как средство изучения истории с Семилужки», И.В. Иванова, Г.И. Куданенко). Кроме того, были представлены доклады, обобщающие опыт историко-краеведческой работы («Деятельность музея и собственный интерес по восстановлению страниц истории и имен в Томском районе», С.Ф. Вершинина; «Краеведческие проекты и их издания», Е.А. Пестерева).

Разнообразные по тематике и эмоциональному накалу выступления всё-таки поддаются смысловому суммированию. Каждый из участников, будучи глубоко лично мотивирован, своим обращением к прошлому вольно или невольно кооперировался и интегрировался в социальный мейнстрим поиска причин современных проблем общества и страны, как минимум на уровне семей и деревень. В условиях, когда занятость в сельскохозяйственном производстве перестала быть гарантией существования, а пока ещё сохраняющаяся сельская поселенческая сеть доказала свою историческую состоятельность, прошлое с его переплетением общих побед

и личных травм, превращается в идеал жизни. Символизация прошлого в настоящем есть социально-экономический ресурс. Ресурсы экологии, краеведения, туризма и дачной рекреации способны укрепить сельскую поселенческую сеть.

Отдельно, в рамках резюме, отметим, что изучение краеведами своих деревень и семей напрочь лишено каких-либо притязаний на исторический академизм. Не только краеведы-любители, но даже и историки-профессионалы, побуждаемые личными мотивами к краеведению, таким образом решают текущие социокультурные задачи. Самоутверждение себя через обретение своих истоков становится признаком корпоративной солидарности сельских краеведов. Восстанавливая историческую память, краеведы отважились самостоятельно восполнять дефицит адекватных объяснений причин ныне происходящего в стране. Трудности становления сельского краеведения могут быть преодолены путем организационной кооперации работы одиночек-энтузиастов. Институализация сельского краеведческого движения может способствовать укреплению непосредственной демократии на селе, ведь «помнящие своё родство» люди нуждаются в механизмах участия в принятии управленческих решений на сельских территориях.

Толстов С.И.,

Усольцева О.В.

Сельское историческое краеведение на Томской земле

Rural historical regional studies in the Tomsk Region

Sergei I. Tolstov, PhD (History), "Delta" Ltd., Director; Tokareva St., 3b, room 1-55, Sevastopol. E-mail: shpakras@mail.ru

Olga V. Usoltseva, PhD (History), Tomsk Lyceum of Humanities, Tutor; Prosp. Lenina, 53, Tomsk. E-mail: usoltseva-o-v@mail.ru

Крестьяноведение

2019. Том 4. № 1

Учредитель: Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

119571, Москва, пр-т Вернадского, 84, корп. 9, оф. 2003
Редакция журнала «Крестьяноведение»
<http://peasantstudies.ru>
E-mail: harmina@yandex.ru

Подписано в печать 18.03.2019. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 14,7. Заказ № 408.
Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии РАНХиГС

Издательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
Коммерческий центр
тел. (495) 433-25-10, 433-25-02
delo@ranepa.ru
www.ranepa.ru

ISSN 2500-1809



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ